

Prix 8 Francs

PÉRIODIQUE

№ 219 Mars 1970

ВОЗРОЖДЕНИЕ

«LA RENAISSANCE»

НЕЗАВИСИМЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 219

МАРТ 1970 ГОДА

c/o: S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ОТЦЫ И ДЕТИ. Редакционная статья | 5 |
| Тамара ВЕЛИЧКОВСКАЯ. Вороний Холм | 7 |
| Борис ФИЛИППОВ. Из рассказов Т. Осадчука, персонального пенсионера | 50 |
| Зинаида ГИППИУС. О Бывшем | 57 |
| В. МАРКАДЭ. Преломление идей от Соловьева к Розанову через Дягилева | 76 |
| С. АНДОЛЕНКО. Суворов | 86 |
| С. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Варшава — июль 1944 года (окончание) | 94 |
| Анатолий МИХАЙЛОВСКИЙ. Борьба за сердца и за души | 110 |
| П. КОВАЛЕВСКИЙ. Жизнь и труды Епископа Иоанна (Ковалевского) | 120 |
| Л. ДОМИНИК. « Малатеста » Монтерлана | 127 |
| К н и г и : А. ГОРСКАЯ. Французские годы Сергея Рахманинова | 134 |
| Из литер. наследства И. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО : Памяти С. С. Юшкевича | 136 |
| Б. БОРИСОВ. По « ту » сторону | 139 |
| Кн. С. ОБОЛЕНСКИЙ. В « Ленинский » год | 148 |
| Объявления | 160 |

« LA RENAISSANCE »

ВОЗРОЖДЕНИЕ

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Под редакцией

Кн. С. С. ОБОЛЕНСКОГО и Я. Н. ГОРБОВА

№ 219

МАРТ 1970 ГОДА

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

VOZROJDENIE

« LA RENAISSANCE »

REVUE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE

Comité de rédaction :

PRINCE S. OBOLENSKY ET J. GORBOF

N^o 219

MARS 1970

c/o. S. S. Obolensky
Chemin de la Côte-du-Moulin
78 — L'Etang-la-Ville

Всю переписку просят временно направлять по адресу :

Mr. S. Obolensky. Chemin de la Côte-du-Moulin

78 — L'Etang-la-Ville

Статьи неприятые к напечатанию не возвращаются, и Редакция не вступает в переписку по их поводу.

Отцы и дети

В одной из своих статей проф. Н. И. Ульянов написал несколько лет тому назад, что наше поколение, быть может, последнее, еще способное понимать нависшую над миром угрозу гибели: следующие поколения будут погибать, даже уже не сознавая, что с ними происходит. Эта жуткая мысль нашего выдающегося историка невольно вспоминается теперь при виде нелепых, а часто и безобразно диких метаний некоторой части западной молодежи при одновременной идейной беспомощности и незащитности ее большинства.

Но прежде чем винить эту теперешнюю молодежь, следует спросить: наше поколение, то, которое имел в виду проф. Ульянов, сложившееся в основном в эпоху между двух войн, — сумело ли оно вполне усвоить свой собственный опыт и, переработав, передать его дальше? В особенности этот вопрос относится к русским эмигрантам: ведь такого опыта, как мы, «дети страшных лет России», никто больше не имел в западном мире, собственный жизненный опыт которого мы потом также могли усвоить вполне.

Против этого вопроса сразу слышен отвод: русская эмиграция оказалась в таком положении, что ей стало практически в высшей степени трудно себя выявлять. Это верно, но только отчасти. По крайней мере в первые два десятилетия своего существования эмиграция обладала возможностями уж не столь ограниченными и ее идейная жизнь, по счастью, не угасла по сей день. Но как и в дореволюционной России, в эмиграции только, сравнительно, небольшие круги жили напряженной умственной жизнью. Основная масса или довольствовалась инстинктивным протестом против пережитого в России ужаса и, вместо его продумывания, оплакивала свою судьбу и предавалась иллюзиям вроде грядущего «освобождения России» немцами, или старалась об этом ужасе совсем забыть, что приводило к двум вариантам: к полному растворению в западной среде с одной стороны, а с другой — к преклонению перед силой советского «факта», с весьма смутной мечтой, если пуస్తят, вернуться в социалистическое отечество.

Первая группа засела в своеобразном эмигрантском гетто, более или менее сознательно отгородившись от всяких веяний европейской, а тем самым и мировой культуры и современности. Вторая группа обратилась при удаче в западных буржуа, при неудаче — в пролетариев, психологически — таких же мечтан, как это теперь обычно бывает у рабочих на Западе, — потенциальные же возвращенцы продолжают мечтать о пре-

имуществах социалистического рая, следуя « прогрессивному », тоже вполне буржуазному западному образцу. В результате, « обыкновенные » эмигрантские папы и мамы ничего не смыслят в том, что теперь творится с их подростками или подрастающими детьми. Ни те, ни другие, ни третьи ничего не могут им связно сказать и только разводят руками : как так, например, во вполне буржуазно преуспевшей семье сын вдруг стал коммунистом, да не каким нибудь, а китайским... Известно, что притягательная сила окончательного закосневшего коммунизма советского среди этой мятущейся молодежи весьма невелика, и если русские по своему происхождению « дети » и не становятся вовсе никакими коммунистами, то всё же, по общему правилу, они от своих эмигрантских « предков » не получили ничего, чтобы разбираться в нынешней путанице, — хотя могли бы быть для этого подготовлены лучше всех своих чисто европейских сверстников.

Они могли бы знать от своих отцов и матерей — если бы те осмыслили пережитый ими опыт России, — что уже славянофилы, Леонтьев и Достоевский видели внутреннюю несостоятельность и обреченность торжествовавшего на Западе мещанства, но при этом также сознавали, что социалистическая революция будет еще хуже. Теперь и то, и другое доказано, как будто, вполне, — и « буржуазное » февральское восприятие мира, и его порождение — материалистический социализм Октября провалились раз и навсегда в русской революции. От ее последствий ни в каких миражах эмигрантского гетто и ни в какой иностранной среде надолго укрыться нельзя : после разгрома европейских фашизмов — также представлявших собой один из отзвуков русской революции — буржуазное спокойствие Европы удалось на двадцать лет восстановить главным образом лишь потому, что в Соединенных Штатах тогда еще не ощущали обще-мирового землетрясения, — и не нам бы теперь удивляться новым подземным толчкам. Духовный бунт против общества построенного для одного « потребления » неизбежен и необходим, плохо же то, что им опять овладевают те « бесы », которых уже знал Достоевский.

Тема необходимого преодоления этой ложной дилеммы — преодоления духовного прежде всего — поставлена русской мыслью задолго до революции. Есть теперь и на Западе люди, ее сознающие. Тут — широкое поле для встречи самой подлинной русской традиции с подлинно передовыми западными усилиями наших дней. Эмиграцией это поле до сих пор очень мало использовано. Но может быть еще не поздно.

«В»

Вороний Холм

(Повесть)

Ах, так! — вскрикнул я и решительно направился к выходу... — Ну так пеняйте на себя, а я больше не могу выносить такой жизни!

— Саша! — бросилась ко мне мать. Но отец удержал ее. Она упала к нему на грудь и залилась слезами... Это было последнее что я заметил уже стоя на пороге. Рванув дверь я хлопнул ею так, что в комнате звякнули оконные стекла. Придя к себе я повернул ключ и прислушался, ожидая что сейчас придет мать, робко постучится и начнет уговаривать... Но я был взбешен и не собирался сдавать позиций. Достал со шкафа запыленный чемодан и принялся складывать вещи как перед отъездом на летние каникулы — выходной костюм, белье, обувь, туалетные принадлежности... У меня уже давно являлась мысль оставить дом, где меня донимали учением и добрыми советами. Всё это мне надоело до крайности. Сегодняшние попреки оказались последней каплей переполнившей чашу. Теперь или никогда я должен положить конец моему бессмысленному существованию — зубрежке, серым будням и унижительным экзаменам, где я два раза проваливался.

Что видел я в жизни кроме этого? А мне уже почти семнадцать лет. Уходит лучшее время, жизнь зовет, она может стать увлекательной. От меня зависит всё повернуть по-своему. Нужны только твердость и выдержка.

А как же родители? Конечно, я люблю их, но теперь они портят мне жизнь. И они не сочувствуют мне. У них устарелые понятия и привычки. Это посредственные люди не знавшие ни сильных чувств, ни глубоких переживаний. Оба удовлетворяются тем, с чем я никогда не смогу примириться. Мама бежит по урокам, отец отдает всё время скучнейшей службе, где, в качестве смотрителя склада, ведет счет запасным частям на автомобильном заводе. Возвращается вечером какой-то измятый, пыльный и ложится отдыхать. Его никуда не вытащишь — ни в театр, ни на доклад... Вся интересная сторона жизни проходит мимо. По словам матери, папа когда-то всем этим интересовался. Но, вероятно, очень поверхностно — иначе он не погряз бы так с головой в скучной обыденщине...

Мама — более живой человек. Страстно любит музыку,

но на концерты ходит всё реже, удовлетворяясь радио-передачами. В свое время мама окончила консерваторию. Но ее музыкальных способностей хватило лишь на то, чтобы обучать девчонок игре на рояли и слушать целый день их сбивчивые гаммы и экзерсисы.

Вот и меня родители хотят «поставить на ноги», то есть заставить тянуть всю жизнь такую лямку. Но они уже старики — матери за сорок, отцу — все пятьдесят. И для них жизнь совсем не то что для меня. У них — в прошлом, у меня — в настоящем и будущем. Пока они сидели тихо — я подчинялся, но теперь, когда отец всё чаще меня упрекает, всё изменилось.

«Мы бьемся из последних сил, чтобы дать тебе образование, а ты бездельничаешь, — так продолжаться не может...»

Очень мне нужна идиотская латынь и постылая математика, которой я никогда не мог терпеть!

Закрыв чемодан я задумался. Надо денег на первое время. Потом какнибудь устроюсь. На карманные расходы мне выдавали в обрез. Я подсчитал — в кошельке болталось несколько мелких монет и бумажка в пять франков. С этим далеко не уедешь... Вспомнил о копилке, куда весь год откладывали сбережения на мой летний отдых. Там оказалось около ста франков... Но и этого, пожалуй, мало. Вчера мама при мне приготовила деньги для уплаты за квартиру — 600 франков за четверть года. Помнится, мать их положила в ящик кухонного стола, чтобы иметь под рукой, когда за ними придут. Взять? — я заколебался. Это подведет стариков. У них всё высчитано и рассчитано. Окажется брешь... Но зато на меня больше никаких расходов не будет, освобожу их... И я решил. У них еще есть около тысячи в почтовой сберегательной кассе.

Проходя по коридору, я услышал как за дверями всхлипывает мать, а отец бормочет: — Крепись, дружок,... все обрзается, только не надо... Конца фразы я не дослышал.

В кухне я сразу нашел конверт с деньгами, сунул его в карман и вернулся к себе. Подождал... Но всё было тихо.

Тогда, взяв чемодан, я крадучись вышел из дому. Не скрою, что когда закрывал дверь, у меня екнуло сердце: как будут волноваться старики... Навсегда ли захлопнулась дверь за моим детством, за многим мне, всетаки, милым? Но я поборол минутное колебание. Вперед! Так надо. Иначе буду сам себя презирать. С вокзала я напишу своим, чтобы не волновались по пустому. Объясню им, что жизнь я должен прожить по-своему.

На Лионском вокзале мне повезло. Нужный поезд отходил через полчаса. Я решил уехать в Лион к дяде Васе. Он меня

очень любит и всё поймет. Первое время поддержит, а потом я и сам стану на ноги. Мне всё это казалось простым и легким.

Я потолкался на вокзале, послал, как собирался, открытку старикам. Заблаговременно поднялся в вагон и уселся в пустом купе, куда позже ввалилась пожилая толстуха с чемоданом и множеством пакетов. Я помог разложить вещи на полках, сел к окну и развернул газету. Но мне не читалось. Газеты я не опускал — она была чудесной ширмой, казалось, что я совсем один.

Я начал думать о том что произошло. Когда возник во мне этот бунтарский дух, заставивший оставить отчий дом? Ведь еще года четыре тому назад я был благонаравным мальчиком, безоговорочно принимавшим родительский авторитет. Да, это началось после несчастного случая с Роже, моим лучшим приятелем. Нашей крепкой дружбе, в то время, уже насчитывалось несколько лет. Роже всегда шел одним из первых в классе. Но он был так добр и скромен, что мальчики ему не завидовали. Никто не мог лучше него объяснить какую нибудь трудную математическую задачу, ни с кем я не мог так хорошо беседовать на досуге. Он ловил мои мысли, понимал меня с полуслова. Как мне нравилось его открытое лицо, высокий лоб, мягкие манеры... Он был почти так же высок как я, но сложения более хрупкого.

Роже не любил спорить. Когда мы бывали несогласны, он говорил помолчав: подожди, увидишь сам... И почти всегда оказывалось, что именно он был прав.

В то памятное лето родители Роже пригласили меня провести месяц на их даче в Ипоре, на Нормандском побережье. Вилла находилась в глубине сада. Мы с Роже спали в одной комнате. Ветки старой липы стучались в наши окна, звали на солнечный простор. Какое это было чудесное время! Утром мы рано просыпались и убегали на пляж. Купались, валялись на теплом песке, собирали ракушки. И о чем только не говорили, слушая шопот прибоя... Конечно, о будущем. Мне оно представлялось довольно туманно. В то время я хотел стать не то авиатором, не то чемпионом бега или плавания... А еще больше, пожалуй, историком-археологом. Роже не колебался, он уже сделал выбор и хотел построить свою жизнь по примеру доктора Швейцера. Вероятно, так и было бы... И конечно мы с Роже хотели многое в мире изменить и улучшить. В особенности социальный строй. Мне казалось, что сначала нужно все разрушить и начать строить заново на свободном месте. Всё будет лучше чем рутина, основанная на несправедливости и эгоизме и построенная стариками. Но Роже улыбался и говорил: — Старики не всегда были стариками. Строят обычно

молодые, а старые поддерживают и уравнивают. И сначала нужно что-то построить, а потом разрушать. — В общем, нам казалось, что устроить рай на земле совсем не трудно.

На вилле было несколько велосипедов и мы часто делали великолепные прогулки по окрестностям. Побывали в Фекане. Заходили в местный музей, где почти не бывает посетителей. А сколько там нашлось интересного... Старинные костюмы, утварь местного кустарного производства, античные амфоры и монеты поднятые со дна моря, древние статуи, изъеденные морской солью и временем... Но мимо многого я прошел бы не заметив, если бы не умный и зоркий взгляд моего друга. Родители Роже, зная его серьезность, давали нам полную свободу. Просили только, чтобы мы являлись во-время к столу, или предупреждали заранее, если собирались закатиться на целый день. Ко мне все в доме относились ласково и внимательно. Родители Роже знали мою мать и любили ее. Она давала уроки музыки Ивонне, сестренке Роже.

Мне было привольно в этом богатом доме, где все было так просто и красиво. И где говорили об интересных вещах — об искусстве, о литературе и философии. Отец Роже был неплохим художником, хотя считал себя только любителем. А мать была поэтессой. В свое время вышли два сборника ее стихов и получили хороший отзыв в прессе. Как эта жизнь была непохожа на нашу домашнюю, наполненную только узкими житейскими интересами... Это различие поразило меня еще в Париже, когда я заходил к Роже. Даже воздух, даже тишина были иными. В одних комнатах пахло садом — там стояли кадки с вечно зелеными растениями и раскидывались вширь изумительные букеты. Их составлял сам отец Роже, придавая цветам какой-то небрежно торжественный вид. В других комнатах, вероятно, от старинной мебели, стоял милый мне запах музейных зал. Из за ковров и вышколенной прислуги во всем доме обычно было тихо. Но особенная, самая глубокая тишина царила в библиотеке. Мне казалось, что это священное безмолвие наполнено мудрыми мыслями и чудесными образами, запечатленными в книгах. Сотни томов стояли за стеклом. Темно-зеленые корешки поблескивали золотым тиснением. Я испытывал наслаждение даже от прикосновения к теплым, как бы живым, кожаным переплетам.

Большие настенные часы бесшумно раскачивали золотой маятник, отмечая ход времени мелодичным звоном. Я невольно сравнивал их мягкий ход с грубым тиканьем моего домашнего будильника, их музыкальный голос с его отвратительным стрекотанием...

Тиканье будильника — это как бы биение сердца бедности.

Можно ли хорошо начать день, если первое, что ты услышишь, будет грубый окрик будильника? Первый его трезвон доносился из спальни стариков — отец рано начинал работу. Чья-то рука поспешно прекращала стрекот. За стеной начиналась легкая возня. Потом слышались осторожные шаги матери мимо моей двери. В кухне текла вода, постукивала кофейная мельница, позвякивала посуда...

Затем доносился приглушенный звон будильника из соседней квартиры — там тоже рано включались в трудовой день. Как только закрывалась дверь за отцом, раздавался стрекот и моего будильника. Я ожесточенно хлопал его по кнопке, так что он иногда сваливался на пол и еще там продолжал трещать. Иногда, в это время я уже не спал, но часто его резкий звон грубо вырывал меня из каких-то прекрасных сновидений. Они мгновенно улетучивались из памяти и как я ни пытался восстановить их лад, ничего не получалось. Хмурый, приходил я в кухню, где меня уже ждал приготовленный завтрак.

— Я сейчас, Сашенька — виноватым голосом говорила мать из ванной комнаты и выходила оттуда в халате. Целовала меня. От нее пахло мятой и душистым мылом. Мокрые пряди волос прилипали к вискам и затылку. И тогда мама казалась совсем молодой.

Пока я пил кофе, она возилась в кухне, что-то терла, полоскала и переговаривалась со мной. Перед моим уходом она всегда меня крестила и говорила: — Будь осторожен, Сашенька, переходи улицу по гвоздикам...

На даче в Ипоре всё было просто и удобно. Крытая терраса, круглый стол, плетеные стулья, раскидные кресла... Глаз всюду радостно встречал светлые цвета и спокойные линии.

В то великолепное июльское утро мы втроем — Роже, я и Жан-Поль, сосед по даче и наш сверстник, выехали на прогулку спозаранку. Едва взошло солнце, наши велосипедные шины уже поскрипывали по влажным дорогам. Мы всегда выбирали узкие тропинки, где никакой автомобиль не проедет. Как нам было весело! оттого ли, что в седой траве вспыхивали радужные капли, оттого ли, что задеваемые ветки внезапно обдавали нас мгновенным дождем (ночью прошел ливень), оттого ли, что за скалами вздыхало море, посылая нам свежий ветер... Впереди катил Роже, за ним я, а позади Жан-Поль. Мы перекликались на ходу, пели, горланили... Из-за скал к нам навстречу поднималось радостное румяное солнце. Длинные лиловые тени пересекали дорожку. Она все время извивалась огибая скалы. Наконец успокоилась, выправилась и

расширилась. Жан-Поль догнал меня и подмигнув шепнул: — Давай его обгоним... Роже медленно крутил педали, что-то напевая. Мы как птицы полетели вперед и объехали его с двух сторон...

— Стой, стой, держи! — закричал он смеясь. Но мы продолжали нестись, оставив его далеко за собой. Дорожка свернула в поле. Вскоре мы приостановились и решили подождать приятеля. Его еще не было видно. Мы уселись под одинокой яблонькой. В синеве заливались жаворонки. По высокой полосе овса, как на море, переливались волны... Прошло минут десять, а Роже всё не было. Мы подумали, что он хочет подшутить над нами и заставить вернуться. Мы еще подождали, потом поехали обратно. Вскоре за поворотом мы увидели Роже. Он лежал на краю дороги, у подножья скалы, как-то странно подвернув руку... У меня ёкнуло сердце. Но Жан-Поль весело закричал: — Эй старина! нечего притворяться, убирайся-ка с дороги, а то мы на тебя наедем...

Но Роже не пошевелинулся. Тогда я бросился к нему и увидел, что у него изо рта течет тонкая струйка крови...

— Он упал, он ранен!... — вскрикнул я. Мы перенесли приятеля в тень. Он был без сознания. Жан-Поль бросился за помощью, я остался возле Роже. Я не мог поверить, что случилось несчастье. Ведь только что мы все вместе весело катили под утренним солнцем. Всё вокруг так безмятежно. Птицы продолжают петь, дикие маки так же колышатся на ветру, загораясь на солнце красными огоньками...

Но я содрагаясь вспоминал, что когда я хотел удобнее положить голову Роже, у меня под пальцами что-то податливо и страшно хрустнуло. Проходили минуты и казались часами. Я пристально смотрел на странно спокойные черты, такие мне милые прежде, а теперь пугающие. Я наклонялся над Роже, пытался услышать биенье сердца, уловить малейшее движение ресниц или губ, звал его по имени...

Вдруг большая зеленая муха села на его щеку, поползла вдоль струйки крови. Потом остановилась... Тогда я закричал и зарываю упал ничком в траву.

Эта бессмысленная, внезапная смерть потрясла меня. Впервые я так близко столкнулся с нею и почувствовал ее непоправимость. Когда хоронили Роже, во мне, во время церковных обрядов, поднимался бунт. Почему пресечена жизнь этого чудесного мальчика? За что послано такое горе его родителям, достойным и сердечным людям? Сколько живет на све-

те людей ничтожных и ненужных, сколько злых и вредных для общества. Но погиб не один из них, а мальчик умный и добрый, приносивший столько радости всем вокруг него. Хороша милость Божия! Мне вдруг показалось, что и моя жизнь, с расчетом на долгие годы подготовки, прежде чем начать ею по-настоящему пользоваться, совершенно бессмысленна. Ведь не Роже, а я мог бы вот так упасть прямо теменем на острый выступ скалы и теперь лежать на дне могилы, засыпанный желтой землей. Всё решает только слепой случай... И что в итоге дала бы мне жизнь? Только 13 лет детства, если не несчастного, то во всяком случае не такого веселого, как у многих. У нас не было ни дачи, ни автомобиля, ни библиотеки, ни круга интересных знакомых. Я мечтал о путешествиях, но никогда не ездил дальше Гренобля, где в горном лагере проводил два месяца летних каникул. Родители же мои никуда не ездили. Да и в Париже редко выходили и редко принимали у себя. Те знакомые, что у них бывали, мне казались очень посредственными людьми. Их занимала только бытовая сторона жизни. Разговоры велись о работе, о здоровье, вернее, о болезнях, или о том, что было при царе Горохе. Воспоминания эти мне казались скучными и от них во мне всегда вставало желание всё изменить, наполнить жизнь новым смыслом и яркими впечатлениями. Не поддаваться рутине — недаром она рифмуется с тиной.

Я потерял охоту учиться. Стоило мне взяться за учебник, как мысли мои начинали разлетаться во все стороны... Сколько я ни перечитывал заданного урока, сколько ни затверживал даты или формулы, непрошенные мысли нахлынув выдували их, как сквозняком... И чем дальше, тем шло хуже.

Как-то раз, в одно мартовское утро, когда новое солнце светило особенно радостно, я вышел из дому с неизменным материнским напутствием относительно перехода улицы «по гвоздикам». Мне показался мой предстоящий день особенно постылым. Уроков я не приготовил и знал, что в классе мне придется, как говорил отец, «хлопать глазами». А ну их всех к чорту! И я решил. Вместо того, чтобы пойти направо, я пошел налево. Спустился в метро и поехал в Булонский Лес. Бродил там всё утро, до одури. Счастливые свободные люди гуляли там. Гомонили пьяные от весны птицы, бегали веселые собаки. На грядках возились садовники; пахло землей, прелыми листьями и еще чем-то, от чего раздувались ноздри и хотелось петь, прыгать и смеяться... Жизнь коротка и непрочна, думал я, так пусть же она будет хоть радостной и свободной. Зайдя в кофейную, я выпил чашку кофе. Потом отправился в Луврский музей. Бродил по мало посещаемым залам.

Открыл массу интересного. Мелькали образы древней Пальмиры, — одеяния до странности напоминали древне-русские. Головные женские уборы — ни дать, ни взять кокошники. В темных закоулках я обнаружил карфагенские гробницы и долго рассматривал прекрасные лица их изваяний. Переглядел все витрины Критской цивилизации...

Домой я вернулся в свой час, как из лица, и, конечно, ничего не сказал родителям. Такое времяпрепровождение мне понравилось и я не раз поступал подобным образом. В результате пришлось подделывать подпись отца и получить переэкзаменовку. И остаться на второй год. Отец сердился, а мать, как всегда, защищала меня, ссылаясь на слишком большую школьную программу.

— Их заставляют так непосильно много работать... все жалуются, — говорила она вздыхая. — Ведь Сашенька делает что может... Он так похудел и побледнел.

Хуже было, когда после моих частых тайных отлучек, в середине следующего учебного года, отца вызвали в лицей. Тут обнаружилось и мое манкирование и подделка подписей. Мне пришлось вынести бурю отцовского негодования и слезы матери. Я заявил, что учение мне опротивело и что я больше не хочу так жить. Отец остался на враждебной позиции, что меня еще больше укрепило в нежелании тянуть лямку, но с мамой было труднее. Ее ласковые и печальные слова колебали мою решимость. Голос мамы не дрожал и не прерывался, она говорила спокойно, но неудержимые слезы всё капали и капали на ее вязаную кофточку и на руки. Я не выдержал этого и пообещал еще потерпеть и не бросать учения.

Я действительно попытался, но было трудно нагонять пропущенное.

На учебники я глядел с омерзением, школьная работа казалась каторгой. Кое как, с переэкзаменовками, переползал из класса в класс. Когда думал о своем будущем, то мне не хотелось быть ни инженером, ни доктором, ни преподавателем, ни химиком... Как скучно всю жизнь заниматься одним и тем же делом! Вот если бы стать археологом или свободным художником. Но я не обладал никакими талантами... Театр, кинематограф? Но и эта деятельность меня не притягивала. Я столько наслышался о неизбежных закулисных интригах. Конечно, у меня хорошая внешность, унаследованная от матери, красавицы в свое время, судя по рассказам добрых знакомых. От отца у меня высокий рост, крепкое сложение и ужасная фамилия, камень преткновения для французов из за буквы «ы». Все они произносят не «Бобыль», а «Бобиль». Мальчики в

лицее зовут меня просто « Биль ». И это мне нравится, звучит на английский лад...

Поезд мчался ритмично постукивая. Я опустил газету. Толстуха напротив меня дремала, положив какое-то зеленое вязание на расставленные колени. Двойной подбородок равномерно подрагивал. За окном пролетали поля, перелески, деревушки, станционные домики... Темные столбы перечеркивали пейзажи с утомительным постоянством. Мгновенным видением промелькнул какой-то замок в глубине длинной аллеи... И опять черные штрихи столбов... Пролетел назад лес, прелестный в своей мартовской прозрачности. Вскоре зелень отяжелит его, но сейчас на тонкий рисунок ветвей как будто наброшена бледно-зеленая вуаль... Я посмотрел на часы — было пять, к семи буду в Лионе.

Толстуха пошевелилась. Я закрыл глаза и откинулся назад, как бы в дремоте. Зашелестели какие-то бумажки, запахло чесноком, потом апельсином. Подкрепляется — подумал я и почувствовал, что проголодался. Поезд остановился, мы приехали в Дижон. Я вышел в коридор и купил у разносчика бутерброд и бутылочку пива. Пока я поглощал все это стоя у окна в коридоре, из соседнего купе вышли две девицы и остановились рядом со мной. Они перешоптываясь улыбались мне. Я давно уже привык, что на меня смотрят, и остаюсь к этому равнодушен. Слегка улыбнувшись соседкам, я ушел в свое купе. Мне было не до девчонок. Толстая спутница тоже встретила меня улыбкой. Я опять закрылся газетой. Девицы несколько раз прошли мимо, поглядывая в мою сторону. Но я скоро о них забыл.

Был ли я когданибудь влюблен по-настоящему? Конечно, нет. На вечеринках, с одними девушками мне было приятнее танцевать чем с другими, но ни одна из них не была ни Джульеттой, ни Изольдой... Меня отпугивали те, что сами вешались на шею, писали записочки, назначали свидания. К тем, что держали себя неприступно, меня тоже не тянуло. Я не знал любви, но ждал ее и верил, что придет. Нельзя же считать любовью маленький опыт уличных встреч. У меня сразу же возникло отталкивание от подобных приключений.

Как я и предполагал, вскоре после семи часов вечера поезд пришел в Лион. На вокзале Перраш меня встретил резкий теплый ветер, пахнувший морем, хотя море и далеко. Этот свободный и веселый ветер сдул с меня последние сомнения и колебания. Начиналась новая интересная жизнь.

На троллейбусе, с пересадкой, я добрался до улицы Гарибальди, где много лет жил дядя Вася, муж маминой покойной сестры. С год тому назад он перестал работать, вышел на пенсию. На шелковом заводе он прослужил 30 лет... Все любили этого доброго простого человека. Он меня баловал, к праздникам посылал подарки. Когда я был маленьким, то получал от него чудесные игрушки, позже книги по искусству или щегольские галстуки и перчатки. Видались мы не часто — раз в два, три года. Иногда мне удавалось его навестить проездом в горный лагерь, иногда он прикатывал к нам на недельку. Тогда мы водили его по Парижу, показывали достопримечательности, а он приглашал нас в рестораны и театры. Его приезд всегда вносил в нашу семью радостное оживление. Последний раз дядя был у нас года два тому назад. Увидев меня на вокзале он ахнул и сказал: — Вот ты какой стал, Сашка, — вытянулся, совсем большой! Молодец! И с грустью прибавил: — Еще больше стал на Верочку похож.... Правда, судя по фотографиям у меня большое сходство с тетей Верой.

Я с трудом узнал дом, где жил дядя Вася. Перекрасили стены, сделали какие-то надстройки... Поднявшись на 2-ой этаж я позвонил. Но никто мне не открыл двери. Немного подождав я решил спуститься и пройтись по ближайшим улицам. Может быть дядя делает покупки? Заглядывая по дороге в лавки я прогулялся по неприглядной улице, с грязными дворами и темными старыми домами. Вернулся и опять нажал кнопку звонка. Дяди всё не было...

Тогда я постучался к привратнику. Я хорошо помнил его, однорукого старика, инвалида войны 1914-го года. Но на мой стук выглянула незнакомая пожилая женщина. Посмотрела подозрительно на меня, на чемодан... Ответила, что господин Семенов сейчас в отъезде и вернется не ранее чем через две недели. Уехал погостить к друзьям в Гренобль, адреса не оставил и почты просил не пересылать. Когда я назваля племянником господина Семенова, она выразила сожаление, что не может мне дать адреса. Предложила навеститься недели через две. Я справился о прежнем привратнике. Узнал, что с год как он умер. У него я просто попросил бы ключ от дядиной квартиры, он знал меня, но у этой женщины вид был недоверчивый и не любезный. Она не дала бы ключа.

— Есть ли тут поблизости недорогой отель, мадам?

— Да, тут, в боковой улочке... Но я вам не советую туда итти. Там грязно и много арабов. Лучше поищите на улице Лафайет...

Я направился туда. Чемодан не был тяжелым, но всетаки мешал мне. Хотелось поскорее от него избавиться.

Отсутствие дяди Васи было первой неудачей. Значит, надо продержаться до его приезда. Сколько с меня сдерут в отеле? Денег у меня в обрез. Шагая по прямой как стрелка улице Лафайет я скоро наткнулся на отельную вывеску: «Сплендид-отель». Я уже заметил, что третьестепенные гостиницы очень любят пышные названия. Так было и на этот раз. Меня провели по лестнице в небольшую комнату с затхлым воздухом и окном закрытым ставней. Когда ее открыли, обнаружили пестрые обои с хвостатыми птицами, кровать под красной периной и прочая незамысловатая мебель. Окно выходило в темный двор без единого дерева. Я заполнил отельную фишку, поставил в шкаф чемодан и снова вышел на улицу. Мне хотелось есть, но лавки были уже закрыты. В плохоньком кафе мне дали чашку какао и бутерброд с зеленоватой ветчиной. Я еще побродил по незнакомым улицам и около 10-ти поднялся в свой номер и сразу улегся. Ночью спал тревожно, много просыпался.

Но утром солнце так весело заглядывало в окна, что я встал бодро и радостно. Всё обойдется и будет хорошо — думал я.

До завтрака я решил побродить по старой части города, у подножья холма Фурвьера. Добрался туда пешком, на что понадобилось меньше часа. После Парижа Лион кажется тесным и темным, хотя некоторые здания уже отмыты по примеру столичных. Даже в центре города площади и улицы не очень широки, а чуть подалее они уже походят на щели. Перейдя оживленную площадь Сен-Низье, по узкой улочке я вышел на набережную и зашагал вдоль Соны. Рону я перешел прежде по мосту Лафайет. Я заметил как различны эти две реки. Рона по-французски в мужском роде — «Рон». Его воды стремительны и свободолюбивы. Это мужественное начало. Встречая препятствия мостов, его воды негодуют и вскипают, образуя зелено-бирюзовые водовороты. Сона, напротив, спокойна и медленна. Сонная Сона. Цвет ее бутылочно зеленый. В ней отражаются древние холмы. На вершине Фурвьера возвышается собор посвященный Богоматери. Ее золотая статуя смотрит с высоты старой церкви на город, простирает к нему руки, как бы оберегает его.

Я перешел мост, зашагал с другой стороны реки, заглядывая во входы домов окаймляющих набережную. Здесь все дома очень стары и все похожи друг на друга. Входы — настоящие норы. Длинные, низкие и темные коридоры уводят куда-то в глубину. Войдя в один из них, я добрался до узкой винтовой лестницы. Возле нее висели рядком почтовые ящики с именами жильцов. Коридор повернул направо и вывел во внутрен-

ний двор. Стены домов ограничивали его с трех сторон. Четвертая стена оказалась отвесной скалой. С влажного неровного камня свешивались заросли плюща. Кое где, уцепившись за скалу корнями, торчали хилые кусты и даже зеленеющие по-мартовски деревца. Ручейки холодной влаги стекали по выбоинам в камне. Я сразу продрог от сырости и повернул обратно.

По солнышку, вдоль набережной я добрался до вокзала Сен-Поль. Заметил на столбе стрелку указывающую налево и надпись над ней : « Старый Лион ». Я свернул и время вдруг отодвинулось на несколько веков назад...

Старина всегда меня привлекала, но я знал только старину отделенную от зрителя музейной витриной и снабженную соответствующей этикеткой. Здесь же старина не была отрезана от жизни, но принимала в ней живейшее участие. Тут все многовековые дома обитаемы. В комнатах, где жили современники Луизы Лаббе, прославленной Лионской поэтессы, и сейчас живут люди. Рождаются, женятся, грустят, веселятся, умирают... Эти древние камни должны влиять на их жизнь, от вековых стен исходят таинственные эманации. Со многими домами связаны, должно быть, предания.

Как зачарованный бродил я по щелям улиц. На многих фасадах еще сохранились гербы давно угасших древних родов... На улице Гадань я остановился перед изумительным зданием. Поздняя готика и ранний ренессанс создали чудесные линии стрельчатых окон, закругленных порталов, изящных каменных завитушек... На доме — вывеска : Музей Гадань. Я глянул на часы, до закрытия оставалось слишком мало времени. Зайду в другой раз. Но я долго не мог оторвать глаз от этого дома. Подошел к сложнейшему переплету железных решеток над подвалами. За ними чернела страшная пустота. Хранились ли там некогда драгоценные вина? Томились ли узники?...

Я повернул обратно, перешел опять мост, закусил в каком-то питейном заведении неизбежным бутербродом с ветчиной и чашкой кофе, и снова принялся осматривать город.

Я поднялся по крутому подъему узкой улочки, замкнутой высокими стенами домов. Обнаружил вход в какой-то скверик и по его извилистым дорожкам поднялся прямо к подножью храма на вершине холма. Мне понравился этот подъем через весеннюю зелень. Кое где стояли скамейки, статуи святых белели из за плюща и зарослей жимолости. Пели птицы, солнечные зайчики играли на дорожках... На высокой площади, где воздвигнут храм Фурвьерской Богоматери, дул сильный ветер. Я подошел к парапету; весь Лион лежал внизу в опаловой дымке... Я различил светлые ленты Соны и Роны, ква-

дратную площадь Белькур, коричневую громаду собора св. Иоанна и прямую линию улицы Лафайет... На горизонте темнели не то облака, не то горы.

Зашел в храм, просторный и высокий, со стенами украшенными мозаичными картинами. В них весело поблескивала позолота. Белая статуя Мадонны светилась в алтаре. Я обошел собор. Во многих местах стены оказались выложенными мраморными плитками с золотыми надписями — изъявлениями благодарности прихожан за помощь оказанную Богородицей. Часто очень коротко: « Спасибо, Мария »... Меня поразило количество этих плиток. И я вдруг, неожиданно для самого себя подумал: Ты все видишь и все понимаешь, Богородица, — прости меня и помоги... Храм был почти пуст, но кто-то играл на органе и эти торжественные звуки волновали меня, говоря об ином мире, где нет места нашим житейским тревоблениям.

Прошло два дня. За это время я успел хорошо осмотреть город, как его старую, так и новую часть. Заходил в незнакомые церкви, побывал два раза в синема, даже повидал место слияния двух рек... На третий день решил сходить в музей Гадань. Меня опьяняло сознание своей свободы и полной независимости. О родителях почти не думал, отгонял эти мысли. Передо мной — новая жизнь, новые люди и новые возможности.

С музеем мне не повезло. Оказалось, что он закрыт по вторникам, а я выбрался туда именно во вторник... Пришлось опять отложить посещение. Я долго рассматривал скульптурные украшения фасада. Опять заглянул в темноту подвалов... И вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Мне давно знакомо это ощущение неловкости в затылке, когда на меня пристально смотрят сзади. Я оглянулся. Из окна противоположного дома на меня смотрел какой-то старик. Я вздрогнул встретив его глаза, так они были пронзительны... Заметил бледные острые черты, длинные седые волосы и скорбно сжатые губы. Всё это как нельзя лучше обрамлялось узким готическим окном и походило на видение. Старик продолжал напряженно смотреть. Мне стало не по себе. Я отвернулся и пошел прочь, все время ощущая на себе этот острый взгляд. Какое странное пугающее лицо, подумал я удаляясь. Куда пойти? Решил снова подняться на Фурьвьер, мне там очень понравилось и подъем находился близко. Уже знакомый сквер встретил меня тишиной и прохладой. Поднявшись наверх я увидел, рядом с храмом, прислонившуюся к нему старую ча-

совню. Вспомнил рассказ дяди Васи о том, что тут хранится лионская святыня — черная Богородица. Я вошел под темный низкий свод. В глубине различил при бедном мерцании свеч небольшую статую в белых одеждах, с темным ликом. По стенам вокруг — экс-вото. И очень старые надгробные плиты с полустертými надписями.... Несколько женщин набожно молились стоя на коленях. Я обошел часовню стараясь ступать бесшумно, вышел и опять подошел к парапету над спуском. Еще раз полюбовался туманной Лионской панорамой. Уходяглянул вверх и совсем близко над собой увидел золотую Деву, простирающую руки, и Архангела с поднятым мечом. Подумал, что Божия Матерь благословляет город, а Архангел защищает его...

Опять спустился к городу через сквер, где меня окружила благостная прохладная тишина. Ничего не было слышно, кроме щелчка птиц и отдаленного колокольного звона.

Глянув на часы я увидел, что было уже около часа дня. Почувствовал, что проголодался... На улице Быка, из приоткрытой двери вкусно запахло чем-то жареным. « Упитанный Телец » — прочел я название ресторанчика. Я заглянул, — за стойкой улыбалась приветливая женщина, несколько человек за столиками что-то уплетали. Я решил тут позавтракать; вряд ли будет дорого в таком скромном месте. Под нависшим каменным сводом колебался табачный дым и стоял застарелый запах еды. Я уселся в уголок, лицом к двери... Вот в такой таверне подкреплялся д'Артаньян — подумал я с удовольствием... Белобрысая девица, постреливая глазками, расстелила передо мной бумажную скатерть и подала несколько кружков Лионской колбасы. Принесла графинчик с красным вином. От него я было отказался, но узнал, что оно входит в цену меню. За соседним столиком три дюжих человека доедали какой-то дымящийся соус. Хозяйка неизменно улыбалась, когда встречалась со мной глазами. Я прислушался к разговору соседей и уловил особый местный выговор, слегка нараспев. « А » произносили немножко как « Э », Луэра вместо Луара...

подавальщица принесла мне второе блюдо и заслонила входную дверь. В это время кто-то вошел и сердце у меня почему-то дрогнуло... Задев меня краем черного плаща, мимо меня вдруг прошел давешний старик. Сел за мной поблизости. Чтобы посмотреть на него мне нужно было-бы оглянуться, но сам я находился в поле его зрения и опять начал чувствовать его пристальный взгляд и нервничать.

Я оглянулся. Мне казалось, что появление старика должно всех встревожить, но мои соседи продолжали спокойно об-

суждать перевозку какого-то товара, так же сновала подавальщица и благосклонно поглядывала на всех хозяйка...

Аппетит у меня пропал. Кто этот старик? Может быть сумасшедший? Я с детства побаивался сумасшедших, пьяных и уродов. Доев кое-как свой завтрак я поспешил расплатиться (оказалось дороже чем я предполагал). У меня больше не было желания бродить по старым улицам. Выходя я спросил у хозяйки как поскорее добраться до моего отеля.

— Перейдите ближайший мост и садитесь в троллейбус № 3, он идет по улице Лафайет.

Почти все Лионские мосты были взорваны во время последней войны, но этот город так скоро накладывает свою патину старины, что мосты не кажутся новыми и не режут глаза. Я остановился посмотреть на воду. Сона медленно влекла свои темные струи, переливаясь зеленым и коричневым. Что-то торжественное было в ее течении. Медленная Лета — пришло на ум. Я уже почти перешел мост, как вдруг вдали, в самом его начале, замаячила знакомая пугающая фигура. Старик шел быстро, поднимая острые плечи. Я прибавил шагу и вскоре пришел на свою остановку. Троллейбус как раз подошел. Старик тоже приближался... Успеет или не успеет догнать? Мне было страшно. Я проворно забрался в вагон и увидел, что старик подбегает размахивая руками. Его подождали и он уселся близко от меня. Я ехал стоя, уцепившись рукой за висячий ремень, троллейбус сильно трясет на поворотах... Глаза старика сверлили мой затылок.

Мы проехали площадь Терро, где четыре вздыбленных коня везут колесницу, миновали центр города, переехали Рону... Старик продолжал сидеть. Когда мы подъезжали к моей остановке, я не двинулся. Рванулся в самый последний момент, чтобы старик не успел за мной последовать. Эта хитрость мне, слава Богу, удалась.

Придя к себе я лег на кровать и стал обдумывать то, что случилось. Чего я трушу? Старик почему-то следит за мной, но не пристаёт и не заговаривает. Мало ли чудачков на свете! Лучше всего не обращать внимания. Да и что может мне сделать дурного старый слабый человек, которого я опрокинул бы одним пальцем? И все-таки мне было не по себе. Старик выглядывал из окна на улице Гадань, вероятно, он там и живет. Конечно, весь квартал его знает, такая красочная фигура не пройдет незамеченной. Но его появление нигде не вызывало тревоги, значит, он не опасен... Чего ему, все-таки, от меня нужно?

Мне вспомнилось как однажды, в Париже, я вышел из лифта и направился домой. Мне было тогда лет двенадцать... Ког-

да я поровнялся с каким-то великолепным автомобилем, меня окликнул господин одиноко сидевший за рулем :

— Хотите, я подвезу вас? Нам, кажется, по дороге... А если не торопитесь, мы сможем проехаться по Булонскому Лесу...

Предложение казалось заманчивым, но какой-то тайный инстинкт запретил мне его принять.

— Благодарю вас, сударь. Но я живу очень близко и мама ждет меня.

У господина было гладкое одутловатое лицо, мне оно не понравилось. И улыбка показалась приторно сладкой.

— Ну что-ж, в другой раз... — сказал незнакомец. Я поклонился и пошел своей дорогой. Машина медленно двинулась за мной. Мне почему-то стало неприятно. В это время меня нагнал приятель и мы, весело болтая, пошли вместе. Автомобиль отстал.

Дома я рассказал матери об этом случае. Она вдруг забеспокоилась, стала подробно расспрашивать и потом сказала :

— Слушай, Сашенька, ты уже большой мальчик, но есть вещи, о которых я тебе еще не могу говорить... Знай только, что в жизни есть много злого и уродливого... Этот человек, по всей вероятности, желал тебе зла. И может быть, ты был даже в большой опасности... Помни, сынок, что ты никогда не должен принимать подобных предложений от незнакомых людей... Обещаешь?

В глазах матери было столько тревоги, что я сразу ей поверил и дал обещание.

Впоследствии мама мне несколько раз показывала в газетах заметки о пропавших детях и многозначительно прибавляла : — Помнишь, что я тебе говорила?

Подростя я лучше понял материнские опасения. Иногда какие-то юркие господа заговаривали со мной на улице, иногда предлагали с таинственным видом « интересные открытки ».

Один из них спросил : — Хотите видеть голых женщин? На что я простодушно ответил, что уже видел их, думая о пляжных впечатлениях. Он отстал.

Но этот Лионский чудак был совсем особенным. Чего ему нужно? спрашивал я себя в сотый раз...

Под вечер я собрался выйти чтобы купить чегонибудь поесть. Открыв дверь, услышал внизу голоса.

— Да, Бобиль... узнал я голос коридорного, — Александр Бобиль. Я остановился. Мужской голос что-то тихо спрашивал. Ответы коридорного были хорошо слышны. — Да, высокий, очень молодой брюнет... да, из Парижа. Он у нас дней пять. Вы хотите его видеть? Он сейчас дома...

— Нет, благодарю вас, я зайду позже, — донесся незнакомый голос.

Дверь захлопнулась. Я вернулся в номер с бьющимся сердцем. Повернул почему-то ключ... Конечно это тот старик. А может быть дядя Вася? Я мог и не узнать голоса.

Выждав время я спустился вниз. Когда проходил мимо коридорного, он мне сказал : — А вас тут спрашивал один господин...

— Какой он из себя?

— Высокий худой старик с длинными седыми волосами... Зайдет позже...

Мои сомнения рассеялись — дядя Вася был маленький и кругленький.

Сделав покупки в ближайших лавочках, я поднялся в номер и стал ждать. Но никто не пришел.

Ночью я часто просыпался. За окном шумел дождь. Я ворочался, думал и наконец решил, если опять встречу старика, не убегать от него, но дать ему возможность заговорить или даже обратиться к нему самому и узнать в чем дело. Может быть всё разъяснится самым простым образом. Но когда я вызывал в памяти глубоко сидящие глаза и их пронзительный взгляд, мне делалось не по себе.

В это ослепительное мартовское утро все сияло и, от выпавшего ночью дождя, казалось свежее-полакированным. Дул порывами шальный веселый ветер, приносил заморское тепло. Еще непросохшие улицы отливали золотом и лазурью. В молодых платанах горланили воробьи. Меня восхитил на углу улицы цветочный лоток... Что за чудо эти огненные анемоны в лучах солнца! Я шел улыбаясь и со всей силой переживая радость свободы... Иногда, правда, как укол в сердце, вставало воспоминание о моих брошенных стариках, о моем поступке. Решил скоро им написать. Мне не захотелось в такое утро погрузиться в сырую полутьму старых улиц, я вспомнил об одном из Лионских музеев, о котором много слышал. Это музей единственный во Франции, а может быть и в мире : Музей Тканей.

Распросив услужливого полицейского как туда добратся, я дождался нужного троллейбуса и поднялся в вагон. Сел рядом с двумя хорошенькими девушками. Они переглянулись и пошептались. Я давно уже заметил, что Лионские девушки

часто красивы и выгодно отличаются от Парижских скромностью и сдержанностью. Подкрашиваются вмеру, хорошо, но без вызова, одеваются. Их никогда не примешь за девиц «из таких». Мама это «из таких» всегда произносила понизив голос, с выражением печали, серьезности и легкой боязни. Милая мама, она в свои 42 года, наверно, осталась наивнее многих 15-тилетних парижанок...

Лионский троллейбус, пожалуй, самый спортивный из всех способов общественного транспорта. Чтобы им пользоваться нужно иметь крепкие руки и ноги. Сидячих мест мало, а стоячие пассажиры едут уцепившись рукой за подвешенные сверху ремни. На ходу троллейбус иногда так заносит, что все валяется друг на дружку. Чтобы удержаться надо вращать в пол подошвами, сохраняя при этом гибкость колен, как при лыжном спорте. Парижская привычка читать в дороге здесь невозможна. В метро никто никого не видит. Вместо лиц — страницы газет или обложки книг. При пересадках замечаешь только спины тех, кого обгоняешь, или кто тебя обгоняет, да еще досадный частокол ног, мешающий тебе подниматься по ступеньками... А здесь все смотрят в глаза друг другу.

Не доезжая до вокзала Перраш, я сошел на указанной остановке. Вскоре, под аркой старинного подъезда я прочел на табличке «Музей тканей». — Купив у привратника билет, я вошел в квадратный двор. В глубине красовался очаровательный особняк XVIII века. Я вошел. Сторож прощелкал билетик и указал по какому направлению следует идти. Просторные залы сверкали стеклом витрин и навощенным паркетом. Пахло каким-то сложным и приятным запахом, отдававшим медом и ладаном. Посетителей, кроме меня, не было видно. Залы расположены по эпохам. Как зачарованный бродил я, рассматривая узоры редчайших тканей... Вот полуистлевшие лоскутки древних коптских материй, извлеченные Бог знает из каких могильных тайников. Узор прост, прямолинеен, но должно быть полон давно утерянного значения. Рисунок это общий язык человечества, первородный знак письменности.

А вот фрагмент ризы святого Мерри — на тусклом шелке сложный переплет вышивки. В кружках восьмерок — святые; между ними нечто напоминающее лиру. По кайме ползут странные существа, не то животные, не то птицы... И было все это вышито в седьмом веке.

На рваной византийской ткани IX века, в синем круге два конных воина, пестря красным и белым, пронзают копьями пасти вздыбленных зверей. Две красные собаки яростно впиываются в их лапы. Кони уткнулись носами в ствол дерева, чьи ветки скрещиваются и переплетаются, подчиняясь необходимо-

сти закругления орнамента... Как странно, что такой сюжет украшал саван св. Остремона! Впрочем, всё это, вероятно, надо понимать символически : — Добро в борьбе со злом.

Осмотрев нижние залы, я поднялся наверх. Тут у меня разбежались глаза от великолепия красок, от переливов шелка и бархата. Еще бы! Это был отдел тканей Италии XV и XVI века. Я долго стоял перед витринами, восхищаясь неиссякаемой изобретательностью художников Ренессанса. Узоры кажутся строго симметричными, но это только на первый взгляд. Присмотревшись я увидел, что правая и левая стороны не одинаковы. Темному цветку соответствует светлый. Светлые жилки на листке темном, темные — на светлом... Из двух рогов изобилья цветы высыпаются чуть по разному. На одной из тканей я увидел рассыпанные по узору красные шары — « пале », герб Медичи.

С детства мать мне внушила любовь к Итальянскому Ренессансу, ее любимой эпохе. Впервые мать повела меня в Лувр, когда я был еще маленьким мальчиком. Красота лиц и движений и богатство красок запечатленных Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэлем поразили меня. Это было похоже на сказку и потому казалось близким и понятным. Позже мы с мамой много раз посещали Лувр и она, зная историю искусства, постепенно вводила меня в волшебный мир творчества. Как радостно тогда сияли ее синие глаза и как я ее любил... В то время я стал мечтателем, мог часами сидеть над книгой не видя ничего, кроме образов своего воображения. Однажды для детского костюмированного вечера мама одела меня пажом Ренессанса. Короткую атласную курточку она расписала сама красивыми узорами, где золото сплеталось с алым и зеленым. На бархатном берете торчало золотое перышко. Как я себе нравился в этом наряде! За костюм получил первый приз и гордился этим.

С того времени я начал интересоваться своей внешностью. Часто смотрелся в зеркало и старался, чтобы мои волосы ложились красивой волной. Отец заметил это и как-то раз подошел ко мне, взъерошил мою прическу, дружески хлопнул по плечу и сказал : — Ты это, Сашка, брось!... Помни, что твои деды и прадеды были вояками, служаками и рубаками. Прадед пал смертью храбрых при Севастопольской обороне, дед был убит в войне 14-го года, а я мальчишкой бежал из дому в Добровольческую Армию, где уже сражался мой старший брат. Его расстреляли большевики... А Селадонов в роду у нас никогда не было и не должно быть...

Откуда-то из чемодана, где хранились документы и ста-

рые семейные письма, отец достал ларчик, открыл его. Там, переложённые ватой, лежали русские ордена... Много лет тому назад, каким-то чудом, через третьи руки, их переслали отцу из России.

— Ордена твоего деда — сказал отец. — Вот это Владимир с мечами, это — Георгиевский Крест, это — Анна, это — Станислав...

Я долго смотрел на ордена, на маленькие ювелирные медали, на золотых двуглавых орлов.

— Помни, Сашка, что лучшее украшение мужчины — его мужественность, как женщины — женственность... А эти штуки ты брось! — повторил он еще раз, ласково растрепав меня.

Внушение отца подействовало. Я перестал так часто смотреть в зеркало. Начал увлекаться спортом.

Но теперь, перед красочной витриной, я опять с наслаждением стал себе представлять великолепную эпоху Ренессанса, юношей одетых в шелк и бархат, турниры, празднества... изумительных красавиц...

Я так увлекся что не сразу услышал поскрипыванье старых ступеней. Кто-то поднялся и вошел в соседний зал. Я досадливо поморщился, мне так нравилось бродить по музею в полном одиночестве. Стоя спиной ко входу в зал, я видел отражение двери в стекле витрины. Вдруг сердце мое заколотилось — в зал вошел он, страшный старик... Я не смел оглянуться, несмотря на принятое решение не избегать встречи. Я видел в стекле как старик медленно подходил ко мне, как остановился рядом, совсем близко... Я боялся пошевелинуться и только напряженно смотрел на его отражение. Он — на мое. Наконец наши глаза встретились в темной стеклянной глубине. И тогда, не смея обратиться к старику, я обратился к его отражению :

— Кто вы? Отчего вы меня преследуете? Что вам от меня нужно?...

Голос мой дрогнул и прервался, как я ни старался себя сдерживать. Отражение старика протянуло руку и я почувствовал на плече ее прикосновение. Внезапно, резким движением, он повернул меня и я очутился лицом к лицу с ним. С минуту мы молча пристально смотрели друг на друга, он с вниманием, я со страхом. Потом старик улыбнулся... И эта улыбка меня удивила так, что я растерялся. Чего угодно я ждал от старика, только не такой доброй и открытой улыбки, она меня совершенно обезоружила...

— Ну вот и хорошо что вы заговорили, — сказал старик мягко. — Я этого и ждал... Но вы увидите, что сейчас всё очень

просто объяснится. Давайте сядем и немного поговорим... По-знакомимся...

Посередине зала стояла длинная скамья, крытая красным бархатом, мы уселись.

— Ну, давайте по порядку... Мое имя Альфред Стрегони. Для друзей просто Альдо или Стрего, как я подписываю свои полотна. Потому что я художник, старый художник, знавший лучшие времена... Теперь пишу мало, то-есть мало картин заканчиваю, хотя много работаю... Я понял какую ответственность берет на себя художник, отдавая людям свое произведение... Ведь оно продолжает жить своей особой жизнью и приносит им то, что ему отдал художник... Впрочем, это вопрос сложный, сейчас не время его разбирать.

Я слушал с интересом, старик мне начинал нравиться.

— Короче говоря, ваше лицо, мой молодой друг, меня привлекло. Не только потому, что оно красиво, но оттого, что именно такое лицо мне нужно для одной из моих композиций. И еще по одной причине... но об этом в свое время, так как я уверен, что мы станем друзьями.

Я слушал улыбаясь, мое доверие и симпатия всё возрастали.

— Ну так вот. Предлагаю вам посидеть у меня в мастерской несколько часов, не к ряду, конечно, а в продолжении нескольких дней, по полтора, два часа, с перерывами для отдыха. Предлагаю небольшое вознаграждение, скажем 5 франков в час. Я, к сожалению, не богат... Идет?

Я согласился, всё это начинало мне очень нравиться. Вот можно и подработать и легче продержаться до возвращения дяди Васи. Деньги мои быстро таяли, хотя я тратил их довольно осмотрительно.

— Хотите, отправимся сейчас же? У меня и позавтракаем чем Бог послал.

Я заколебался, в музее оставалось несколько недосмотренных зал. Я сказал об этом.

— Ну так досмотрим их вместе, — весело сказал старик и поднялся. — Этот музей немного старше вас, ему всего 20 лет... Я говорю конечно о размещении коллекций. Все эти драгоценные вещи прежде ютились в полутемных залах Палаты Коммерции, затерянные среди предметов очень среднего качества и только с 1946-го года экспонаты, тщательно проверенные и отобранные, нашли достойное место в этом особняке... А в XVIII веке здесь жил герцог Виллеруа, Лионский губернатор... Что вам больше всего понравилось?

— Трудно сказать, — ответил я, — тут столько интересного... Пожалуй, итальянские залы...

— Я так и знал, — радостно глянул старик.

— Почему?

— Так, у меня нюх... И стояли вы как зачарованный именно там. Я вас понимаю, есть на что полюбоваться!... Еще с XV века Франция начала приглашать итальянских художников и ткачей, чтобы у них учиться, но только в XVIII веке французские мастера, научившись ремеслу, смогли проявить свой собственный вкус... прежде только подражали Италии...

Я развесил уши. Старик говорил живо и увлекательно.

— Заметьте, вот главная тема итальянского орнамента : плод граната и цветок чертополоха, — указал рукой старик. — Но как они талантливо стилизованы, как всюду по-иному трактованы!...

Старик увлек меня дальше.

— Посмотрите, как расцвело ткацкое искусство во Франции в XVIII веке!...

И правда, до чего были красивы блеклые шелка, где в прихотливых сочетаниях переплетались цветочные узоры, пестрые птицы, ленты, драпировки...

— Композиции Филиппа де Салля — сказал старик. — Это был большой мастер! После революции ткацкий станок Жакара упростил работу и драгоценные ткани перестали быть достоянием аристократии, в них стали рядиться все франты и франтихи... А вот, посмотрите-ка, это образец ткани с рисунком де Салля, составленный по заказу русской императрицы Екатерины II.

Я залюбовался сложнейшим орнаментом из закругленных полосок, увенчанных травами и цветами, они обрамляли великолепного фазана, горделиво изогнувшего шею.

— Ваше имя Александр? — вдруг спросил мой спутник. — А как вас звали дома?

— Сашей, — улыбнулся я.

— Это очень хорошо : Саша... Я вас буду тоже так звать, если вы ничего не имеете против?

Я поспешил согласиться.

— А меня зовите просто : Стрего... без мсье. Ваше имя мне напоминает моего друга, покойного Сашу Гитри... Вот что, милый Саша, у нас еще кое что недосмотрено, в частности старинные испанские церковные облачения. Они требуют особого внимания и я предлагаю отложить это на другой раз. У вас и так, должно быть, сумбур в голове от всего увиденного.

Он был прав, я слегка устал от множества впечатлений.

Стрего дружески взял меня под руку и мы вышли на солнечную улицу.

— Что-ж, поедем ко мне?

— Поедем...

Какой интересный человек, этот Стрего, и чего я его боюсь?

Он поглядывал на меня с улыбкой, как будто понимая мои мысли.

Мы добрались до улицы Гадань, где Стрего несколько раз заходил в лавки, вынося оттуда какие-то свертки.

Наконец мы нырнули в темный вход, под каменные своды коридора. Поднялись по вдавленным вековыми шагами ступеням винтовой лестницы на третий этаж. Заскрежетал ключ и Стрего, распахнув массивную дверь, пропустил меня вперед.

Я вошел в большую комнату с низким потолком и каменным полом, крытым потертым ковром. Мебели в ней стояло мало; диван, кресло, стулья, стол... Полочки с книгами и шкафы ютились по углам. Труба от маленькой печки, на которой стоял чайник, тянулась прямо в массивный мраморный камин. У стен стояло множество холстов на подрамниках, возле окна — большой темный мольберт. На нем — картон с наброском пейзажа. Повсюду кисти и тюбики с краской, на табуретке — красочная просторная палитра. В комнате приятно пахло масляной краской, лаком, скипидаром и, как будто, сухими цветами. Все стены увешаны картинами, одна из них занимала центральное место. Я на нее загляделся... Это был портрет молодой девушки с таким прелестным лицом, что не хотелось отвести взор. Синие глаза улыбались, но губы были по детски серьезны. Каштановые локоны бросали на нежные щеки сиреневую тень, тонкая кисть руки придерживала на груди драпировку белого шарфа. И во всем этом облике было нечто удивительно милое и как будто знакомое, хотя я знал, что такой девушки я никогда не встречал, — если-бы увидел, то не забыл-бы...

— Кто это? — спросил я.

Стрего тем временем хлопотал по хозяйству, зажег спиртовку и что-то уже шипело на сковороде под крышкой. Стол был осовобожден от кипы рисунков и застелен белой клеенкой, на ней лежали хлеб, ветчина, сыр и салат.

— И вы тоже? — засмеялся Стрего, — все, приходя ко мне в первый раз, спрашивают об этом портрете. Я считаю его своей лучшей работой. А девушка эта была так же прекрасна душой как и телом. Это не часто случается.

— Была?... Что же с нею случилось? — спросил я со странным чувством, похожим на надежду.

— Я потерял ее, — просто ответил Стрего и отвернулся. — Ай, ай! картошка пригорает, — всполошился он и бросился мешать в кастрюльке.

— А теперь к столу, Саша, всё готово. Если хотите вымыть руки, то поспешите, а то соус простынет...

Закоулок, отгороженный ширмой, заменял ванную комнату. Большая каменная раковина... полотенца... зеркальце, полочка с туалетными принадлежностями... Всё бедно и чисто. Но и здесь я обнаружил пухлую папку, оттуда выпирали рисунки, а на полочке, возле зубной пасты, лежала тонкая кисточка... Художник вытеснял обывателя.

Мы уселись за стол. Строго трогательно за мной ухаживал и подкладывал лучшие кусочки. Я чувствовал себя как дома. Старик интересно рассказывал о Лионской старине и о задуманной картине. Он ни разу не задал щекотливого вопроса о моей семье, о цели моего пребывания в Лионе, о моих планах... Я оценил его деликатность и вскоре мне стало казаться, что я давным давно знаю Строго... Так началась наша внезапная и крепкая дружба.

Мы стали встречаться почти каждый день и с каждой новой встречей мое доверие и признательность к новому знакомому всё возрастали. Позировать было не трудно. Строго делал много этюдов, зарисовывая углем то мои руки, то корпус, то голову... Как только я уставал, мы делали маленький перерыв. Работа не мешала старику разговаривать на разные темы. Я больше слушал, чем говорил и сколько я узнавал увлекательного об искусстве живописи и о Лионской старине. Как-то раз я разоткровенничался и вдруг рассказал всё о себе — об отношениях с родителями, о побеге из дому, о дяде Васе... Строго слушал внимательно, не перебивая и не расспрашивая. Только иногда покачивал головой, как бы в подтверждение не то моих слов, не то своих мыслей. Он понимал меня. Когда я кончил свою исповедь, мы долго молчали. Спустились сумерки и, как всегда, вместе с ними, легкая грусть.

Строго печально сказал: — Милый мальчик, жизнь гораздо сложнее чем вам это кажется... Тот социальный строй, к рамкам которого нам нужно применяться, вырабатывался жизненными условиями в продолжении веков. Тот, кто хочет его обойти, навлекает на себя неисчислимые трудности. Ваша дерзновенная молодость пока не видит этого, но житейский опыт вскоре их обнаружит.

— Но я не хочу нарушать никаких законов, — горячо воскликнул я. — Я собираюсь честно работать и не быть никому в тягость. Никакого труда я не боюсь... У меня много сил и выносливости.

Строго взглянул испытующе. — На какое же положение в обществе вы рассчитываете?

— Не знаю, — откровенно ответил я. — Время покажет.

Пока я не откажусь ни от какой работы... грузчика, чернорабочего... мне всё равно. Надеюсь, что дядя меня устроит на тот завод, где он служил, как механик, много лет.

— Ну что-ж, попробуйте... — Стрего задумался. — Я вам очень благодарен за вашу откровенность. Теперь мы стали совсем друзьями и я постараюсь вам помочь, чем могу.

А через несколько дней случилась странная история. Я шел по мосту Лафайет и вдруг на другой стороне увидел человека как две капли воды похожего на дядю Васю. Он быстро шагал по направлению площади Св. Низье. На мосту большое движение и я не мог перейти на ту сторону пока не дошел до законного перехода с сигналами. Дядя быстро удалялся, пока я ожидал зеленого света. Сложив руки рупором я крикнул: дядя Вася! Он оглянулся, я радостно замахал рукой. Конечно же это был мой дядя. Но вместо того чтобы остановиться, он прибавил шагу... Когда я наконец смог перебежать улицу, его не было видно за толпой прохожих. Я поспешно проталкивался через них, но дядя Вася как в воду канул... Как странно! Вероятно, он меня не узнал. И я решил зайти к нему сегодня же.

Под вечер я отправился на улицу Гарибальди. Позвонил к дяде. Но за дверью, как и прежде, все было тихо. Я спустился к привратнице и спросил когда вернулся дядя и когда он бывает дома. Но она ответила, что господин Семенов не только не вернулся, но написал ей что останется в Гренобле еще на месяц, и адреса не дал. Я изумился. — Да ведь я же его видел сегодня в городе! — Но старая ведьма не стала разговаривать, а пожав плечами, захлопнула дверь перед моим носом... Наставить было бесполезно.

Когда я рассказал об этом Стрего, он странно улыбнулся. — Значит, Саша, или вы ошиблись, что самое вероятное; или же у вашего дяди есть двойник, или это была галлюцинация... А может быть и то, что ваш дядя не хочет вас знать?

— О нет! Дядя всегда меня любил, отчего бы он вдруг изменился?

Стрего пристально посмотрел. — А если ваши родители ему написали? Вы не чувствуете никакой вины перед ними?

Я растерялся... Всё может быть. Бесспорно, поступок мой не слишком хорош, но понять — простить, а дядя меня всегда понимал.

— Что-ж, поживем — увидим, — сказал Стрего, принимаясь за работу. Поскрипывал уголь, на бумаге возникал, не знаю в который раз, мой профиль. Старик проводил линии уверенной рукой, долго не отрывая ее от рисунка...

— По вашим бровям и выражению губ, Саша, я вижу, что вы сегодня чем-то озабочены.

Тогда мне пришлось признаться, что вчера, после уплаты в отель, я подсчитал свои деньги и увидел, что мне нужно спешно искать работу; финансы мои были на исходе.

Стрего отставил мольберт. — Вот что, друг мой, я могу вам предложить угол в своем ателье. Это сократит расходы и будет, временно, выходом из положения. Тарелка супа у меня для вас всегда найдется. Мне очень жаль, что я не могу предложить лучшего... А что касается работы, то посмотрим завтра в газетных объявлениях, там всегда много предложений труда.

Я поблагодарил и в тот же вечер перенес свой чемодан. У Стрего оказалась раскладная кровать. Он поставил ее под окном, сам улегся на диване в другом конце комнаты. В первую ночь на новом месте мне не спалось. Нудно стучала капля в умывальнике, томительно тикал будильник, в углах мерещилась какая-то затаенная возня, мышинный шорох... Стрего вздыхал и ворочался... Я заснул очень поздно.

Поутру вкусный запах свежего кофе зацекотал мне ноздри, тихо шаркали мягкие туфли, — я открыл глаза...

— Доброе утро! — весело меня приветствовал Стрего. — Ну, как спалось на новом месте? Кофе готово, газета принесена, солнце светит во-всю... Хороший день!

За кофе я развернул газету. Нашел множество предложений труда. Требовались, по большей части, специалисты: электротехники, слесари, точильщики, полировщики... и целый ряд профессий, о которых я не имел ни малейшего понятия. Но на заводе Родиасета спрашивали просто рабочих, это мне подходило. И я отправился туда. За десять минут добрался до квартала Вэз, — огромный завод тянулся вдоль всей улицы. Я вошел в широко распахнутые ворота и сразу увидел вход в контору по найму рабочих. Там сидело несколько машинисток и угрюмый бородач в белом халате.

Он спросил мои бумаги. Я подал паспорт.

— Где вы работали раньше?

— Я еще не работал, учился...

Бородач внимательно посмотрел на меня. — Вам 16 лет?

— Почти семнадцать.

— У вас есть разрешение ваших родителей?

— Какое разрешение?

— Разрешение работать, конечно.

— У меня нет такого разрешения.

— Ну, так принесите его, без этого мы не можем вас принять, вы еще не совершеннолетний... — Он протянул мне паспорт. — И принесите также свидетельство о местожительстве...

Вот так раз! Я вышел на улицу совершенно растерянный. Вот они предсказанные Стрего социальные затруднения, чорт бы их взял!

Стрего не удивился, когда я ему рассказал о своей неудаче. Хлопнул меня по плечу и сказал: — Не унывайте, Саша. Я кое-кого сегодня повидаю и может быть чтонибудь устрою.

После завтрака он ушел надолго. Я вышел немного побродить по городу, но мне не гулялось, на душе было беспокойно. Скоро вернулся и стал дожидаться Стрего. Наконец и он вернулся и еще на пороге сказал: — Есть два предложения, Саша, во-первых у моего знакомого в художественную студию требуется натурщик, — на два часа утром и на час после завтрака. Платят там лучше, чем я...

Я обрадовался: — А как это происходит?

— Да как обычно... Вы, стоя на возвышении, будете принимать позы, которые вам укажут, а молодежь вокруг будет делать зарисовки... Позировать надо обнаженным.

— Как, даже без трусиков?

— Даже без трусиков.

— А среди учеников есть и девушки?

— Пожалуй даже большинство девиц...

Я покраснел. Господи! Стоять под перекрестным огнем чужих глаз в чем мать родила...

— Что-ж вы, друг мой? Мы с вами на днях беседовали и вы говорили, что неестественно стыдиться своего тела, если оно не уродливо и не болезненно... Помню, вы даже смело утверждали что спартанцы были правы, когда уничтожали хилых младенцев. Вы же, слава Богу, здоровы и хорошо сложены, так в чем же дело?

Действительно, я все это говорил. Мне всегда были неприятны всякие калеки, косые, кривые... Зачем им жить? Жизнь создана для сильных, красивых и молодых. Старость мне тоже казалась чем-то уродливым, почти постыдным. Я всегда думал, что не надо, оттого, долго жить, самое большое лет до сорока, пока жизненные силы не пошли на убыль.

Я смешался... — У вас, кажется, имеется еще какое-то предложение?

— Да, временная работа... Тут поблизости, в мастерской плюшевых игрушек. Уборщица заболела и некому прибирать помещение, работа несложная: подмести, протереть пол, выбросить сор и т. д... Там две комнаты: мастерская и упаковочная. Только надо рано вставать, чтобы всё было в порядке до прихода рабочих, они начинают в девять. А вам придется убирать от семи до половины девятого... Платят по тарифу. Оплата не очень щедрая.

— Я предпочитаю эту работу, — решительно сказал я. — Спасибо, Стрего! А когда можно начать?

— Да хоть завтра, чем скорее, тем лучше. Но прежде мы пойдем познакомиться с заведующим и он вам все объяснит. Сегодня, пожалуй, поздно, хотя... — он посмотрел на часы — можно попытаться. Там поздно кончают, если есть спешные заказы.

Мы поторопились. Идя, я запоминал дорогу: улица Гадань, улица Быка, подъем Гургийон... По крутому подъему Стрего пошел медленнее, посмотрел на меня лукаво.

— Вы, Саша, интересуетесь всякой Лионской чертовщиной... Так вот, с этим подъемом связана интересная история. Пока доберемся, успею рассказать... В середине XIX века жил в Лионе один праведный доминиканский монах — отец Жандель. Он часто читал проповеди в соборе Св. Иоанна и слушать его сходилась много народа. Как-то раз, а было это в 1856 году, его слова о животворящей силе Креста Господня особенно запали в души прихожан, и призвали их к покаянию.

Но как только о. Жандель вышел из храма, к нему подошел человек, скрытый плащом и капюшоном так, что видны были только черные горящие глаза. « Все ваши утверждения, во время проповеди, требуют уяснения и проверки — сказал он — предлагаю вам придти ко мне, на улицу Гургийон, чтобы поговорить об этом со мной и моими друзьями... »

Монах сразу почувствовал, что этот человек, если не сам дьявол, то один из его слуг и не решился ответить ни да, ни нет. Но, узнав номер его дома, сейчас же отправился к кардиналу Бональду, чтобы с ним посоветоваться и Лионский архиепископ благословил его принять вызов. Под вечер, монах, в светской одежде, пришел в указанный дом. Там его встретило враждебное сборище сатанинских приспешников. Окружили, стали издеваться... В этот момент появился высокий, темный человек и все перед ним расступились. Тогда о. Жандель выхватил припрятанное за пазухой Распятие и сотворил им крестное знамение... И вдруг затряслись и рухнули стены... Дьявольское племя расплылось... О подлинности этого события есть ценное свидетельство аббата Базелера, главного секретаря епископства Дие...

— Ну вот, мы и пришли, Саша.

На массивной двери вместо звонка висела металлическая женская рука в сборчатом манжете, держащая шар, чтобы им стучать... Но этого не пришлось делать, так как дверь была полуоткрыта... Мы вошли в темное помещение с низким потолком. На длинном столе лежали кипы бумаг, тут же, на стержнях, — толстые мотки бечевки. Вдоль стен полки с коробками

ми различных форматов. В углу — конторка, освещенная лампой. Что-то там писавший человек в очках встал нам навстречу.

— Вот, привел вам молодого человека, о котором мы говорили, — сказал Стрего, пожимая ему руку.

Очкастый поглядел на меня внимательно, кивнул головой, но руки не подал. — Хорошо... Как ваше имя?

— Александр Бобыль.

Он усмехнулся: — Ладно, Биль... Обязанности ваши не сложны: здесь убрать обрывки веревок и бумаг, подмести, протереть столы... На конторке бумаг не перемещать, это очень важно, а сорную корзинку освободить.

Мы перешли в соседнее помещение. Здесь тоже тянулись столы, на них — лапы, туловища и головы плюшевых зверей. На полках штуки материи, всякие ящики и коробки... У стен две швейные машины. Пол усеян обрезками плюша и какими-то белыми волокнами, которые разлетались от малейшего движения воздуха.

Очкастый уловил мой взгляд. — Это хлопок, им набиваются туловища. Вы сами видите, что нужно делать, чтобы было чисто... Но не перемещайте то что на столах, всё разложено так, чтобы служащие сразу находили оставленную работу. Здесь у нас кройка, там шитье, тут набивка и монтаж... Понятно?

— Это не сложно, — ответил я.

— Ладно. В этом шкафу метелки, тряпки, ведра и мыльные порошки... А вот вам ключ. Приходите завтра к семи и постарайтесь управиться до восьми с половиной. Идет?

Я кивнул головой, взял ключ, попрощался и мы вышли. Я немного приуныл, не очень мне нравилась такая работа, но лучше что нибудь, чем ничего. Время включаться в трудовую жизнь... Стрего бегло на меня посматривал.

Вечером после ужина старик старался меня развеселить, рассказывал смешные истории, шутил, но мне было грустно. Как обычно я поглядывал на мой любимый женский портрет.

Стрего заметил и вдруг сказал: — Эта девушка была талантливой пианисткой. С ее способностями и личным очарованием, она могла бы сделать блестящую карьеру, если бы обстоятельства сложились иначе...

Я слушал затаив дыхание.

— Помню одно из ее первых выступлений на ученическом вечере... Как она, бедненькая, волновалась! Руки дрожали, были холодны как лед, она их прикладывала к пылающим щекам чтобы согреть и все повторяла: — Я все забыла, не могу играть, постыдно провалюсь... На эстраду поднялась как на

эшафот. За кулисами я успел ей шепнуть — не думай о себе, думай только о Шумане и все будет хорошо... Она улыбнулась почти сквозь слезы... Я тоже за нее волновался, очень ее любил. Первые такты Шумановского « Вечера » она смазала, проиграла дрожащими пальцами. Пылающие щеки вдруг побледнели так, что я встревожился... Но мало-по-малу она овладела собой и вторую вещь « Душевный порыв » сыграла увереннее. А третью, знаменитое « Warum? » — « Почему? » Эллен исполнила с таким подлинным чувством, что глубоко взволновала аудиторию. Ее долго не отпускали, требовали повторения, но она не захотела, только кланялась, улыбаясь дрожащими губами...

Я прибежал за кулисы и застал ее в слезах, она была недовольна собой. Успокоилась немного только когда я ей сказал, глядя прямо в глаза: — Дорогая, лучшего исполнения « Warum » я никогда не слышал.

Впоследствии, когда я встретился с Энемоном Триа, директором Консерватории, он мне сказал что эта молоденькая пианистка исключительно даровита... Предсказывал ей блестящее будущее. Но это не сбылось.

Строго замолчал. А я, отметив в душе, что « ее » зовут Эллен, спросил: — Что-же с нею случилось?

— Да как обычно это бывает... Вышла замуж, отдалась всецело семье. А жаль. Но об этом потом, пора спать, Саша, завтра вам рано подниматься.

Утром я отправился на работу. Сделал все то, что от меня требовалось. Больше всего воевал с проклятыми волокнами хлопка; от взмаха метлы они поднимались вверх, набивались мне в нос, застревали в горле. Оседали на всех поверхностях... Я возился с ними долго, чихая и откашливаясь, пока не сообразил, что пол предварительно надо взбрызнуть водой. После этого дело пошло на лад. Но на полу остались грязные полосы. Пришлось мыть его тряпкой, несколько раз меняя воду. Руки сразу же стали грязными, с черными ногтями... Закончил работу после половины девятого. В дверях столкнулся с давешним очкастым, он хмуρο поздоровался.

— Ну что, справились? — Он бегло оглядел помещение. — Постарайтесь кончать раньше, чтобы пол успел высохнуть, а то сразу же наследят... И вам же будет труднее. Ну, значит до завтра!

Только выйдя на улицу я заметил, как вымазался за работой; на обуви — полосы грязи и брызги, к костюму пристали волокна и нитки... Я отряхивался на ходу как пудель после купанья, чистил рукавом пиджак и мечтал о ванне.

Дома Строго поджидал меня с горячим кофе, но я прежде

всего пошел под кран... Долго терся, обливался и откашливался. Старик участливо расспрашивал, не слишком ли трудно работать. Но я не стал жаловаться, сказал что завтра дело пойдет лучше, так как я уже кое чему научился.

— Молодец, Саша, — улыбался Стрего, щедро мне намазывая маслом ломоть свежего хлеба. Я подумал, что этот человек заменил мне семью и что я привязался к этому милому чудачку... Ну что бы я без него делал?

— Тут наклеивается еще одна работа — сказал он. — Предлагают раскрашивать на дому куколок. Работа невыгодная, но не противная. Вы как насчет рисования?

Я ответил, что надо попробовать.

— Попробуем, Саша...

И позавтракав Стрего отправился за куклами. После его ухода я подумал о том, что за всё это время я никогда ему не помогал по хозяйству, он всё делал сам. Я почистил щеткой ковер, прибрал комнату, вымыл умывальник. Потом сбежал в лавочку, где купил два ломтя ветчины и кислой капусты. По дороге мне попался на глаза цветочный лоток и я купил букетик аномон. К возвращению Стрего они уже красовались на столе, а на спиртовке варилась картошка.

Как радостно глянул старик : — Молодец, Саша, вы тут, я вижу, хорошо похозяйничали.

Он поставил на пол большую картонку и раскрыл ее, я увидел в ней кучу маленьких розовых фигурок, похожих на грудку креветок.

— Вот, — достал он одну фигурку, — двумя синими точками надо наметить глаза, красной — рот, и провести желтой краской по волосам, вот как на этой модели... Оплата — 3 франка за сто штук. При сноровке можно кое-что подработать... Цена, конечно, скудная.

После обеда мы принялись за работу. Точки в глазах должны были быть совершенно одинаковыми и это мне не сразу далось. Чуть больше чем следует краски и казалось, что щекастый младенец дурачки подмигивает. Приходилось несколько раз смывать бензином. Хотя краска быстро сохла, всё же я не раз размазывал ее пальцами... Красная точка тоже требовала большой точности, при малейшем отклонении кукла кривила рот.

Для каждого цвета была отдельная кисточка, она быстро деревенела от лака и это задерживало работу, пока мы не придумали класть фигурки рядком на стол по десяти и мазать сначала все глаза, потом рты, наконец волосы...

— Вот это серийная работа, — сказал с удовлетворением Стрего, видя, что работа пошла быстрее. Я до вечера корпел

над младенцами, с помощью старика раскрасил полотораста штук.

— Ну вот, 4¹/₂ франка в кармане — весело сказал Стрего, подсчитав куколок, — для начала не плохо. Будете одолевать все 200, а это уже 6 франков. Проживем!...

Вечером мне пришлось заняться стиркой белья; воевал с темными полосами на воротничках и манжетах. Стрего научил их тереть щеткой и это облегчило работу. Я подумал о маме; дома я просто вынимал из шкафа чистое разглаженное белье, никогда не задумываясь, как оно туда попадает, после какого труда.

Стрего предложил мне брать на работу его старый халат и веревочные туфли: — А штаны снимайте, или закатывайте повыше, это предохранит одежду.

Пока я возился, Стрего уселся писать. Я заметил, что он регулярно ведет какие-то записи, пишет дневник или мемуары. Я ему не мешал. В эту работу он погружался с головой, ничего не видя и не слыша; перечитывал, делал поправки, задумывался...

На следующее утро я оценил совет Стрего. Обувь и костюм пострадали гораздо меньше. С уборкой я справился за час и ушел до появления очкастого. Но потом целый день першило в горле от мерзких волокон и чесались глаза, пока я не промыл их.

Потом опять принялся за кукольные рожи. — Расскажите мне чтонибудь еще о Лионе, — попросил я старика.

— Знаете ли вы, что Лион чуть не стал столицей Франции?

Я удивился.

— Существует предание, что Франциск I лелеял эту мысль. Он любил древний Люгдунум, но однажды, выпив стакан Лионской воды, старший сын Франциска скоропостижно скончался и после этого город опротивел королю. В воду должны были подсыпал яду, не без содействия Катерины Медичи.

Видели-ли вы уже, Саша, римские амфитеатры на склоне Фурвьера? Нет? Ну так мы сходим с вами туда на днях, стоит посмотреть... На том месте, где теперь стоит собор, находился Форум, отсюда и название Фурвьера — Форо Ветеро... Выше театров стоял храм Кибелы — древней богини Матери, символа вечного возрождения, божества Земли. На месте форума теперь храм Богородицы, Матери Небесной. А развалины языческого храма рядом с ним... Это очень древние, таинственные места. Они обогрены кровью христианских мучеников... Но к светлым местам часто тянутся злые силы, стремясь осквернить их. В средние века у развалин храма Кибелы Лионские

ведьмы справляли свой шабаш. Там они поклонялись черному камню — олицетворению языческой богини.

В Лионе же возник и монтанизм. Слыхали о нем? Во втором веке жрец Кибелы, фригиец Монтан приняв христианство не отказался от древних верований, но хотел сочетать с ними христианство. Так он, предписывая строгий пост и воздержание, одновременно занимался колдовством. Он многих тогда соблазнил и влияние его осталось в Лионе надолго, может быть до наших дней...

Я развесил уши, позабыв о кисточке, она засохла, пришлось размачивать в ацетоне.

— Заслушались? — улыбнулся Стрего. — А вот когда будете проходить по набережной Пьер Сиз, обратите внимание на дом № 19. Там в подвале еще бьет чистый ключ, теперь почти забытый. А некогда он считался целительным и в седьмом веке даже удостоился папского бреве. В 177 году, во время гонения на христиан...

— Отчего оно началось в Лионе? — перебил я Стрего.

— Предполагают, что из за того что христиане не захотели принять участие в языческих торжествах... Ну так вот, тогда многие гонимые христиане скрывались в подземельях. Среди них находился и юный Эпипод, впоследствии причисленный к лику святых. Он нашел убежище в подвале на берегу Соны, ныне набережной Пьер Сиз. Но преследователи его там отыскивали и Эпипод, вместе с другими христианами, принял мученическую кончину. А когда его уводили из убежища, одна из сандалий Эпипода упала в источник и вода тем обрела свои целительные свойства... Она врачевала от болезней многих верующих, в продолжении веков... Постепенно это забылось и в XIX веке городское правление объявило воду непригодной для питья. А дом и до наших дней сохранил остатки часовни св. Эпипода...

— А кто был этот Пьер Сиз, давший свое имя набережной?

Стрего улыбнулся. — Его никогда не было... А был огромный камень мешавший римлянам проложить дорогу, и его раскололи чтобы иметь возможность убрать с пути. Это одно из самых древних названий: Пьер Сиз — Расколотый Камень.

Быстро мелькали дни, наполненные работой. Я приспособился к своей уборке и стал быстрее раскрашивать младенцев, но как ни старался не мог выгнать больше 200. За это время я навещался к дяде Васе, но он как в воду канул. Получая деньги, я всегда со стыдом вспоминал о взятых роди-

тельских сбережениях. Мечтал накопить и вернуть. Но мой заработок был мал.

Как-то раз Стрего мне сказал : — А знаете-ли вы, Саша, что прошло уже почти два месяца с тех пор как вы оставили отчий дом? Не думаете ли вы, что следует дать о себе весть в Париж? Ваши родители, должно быть, очень волнуются...

— Да, но я не хочу, чтобы на конверте стоял Лионский штемпель. Они сразу догадаются, прикатят сюда, найдут...

Старик помолчал, потом сказал, вздохнув : — Я могу отправить ваше письмо в Париж, своему приятелю, с просьбой опустить там в почтовый ящик.

И тогда я написал своим, что я жив и здоров, что нашел работу и доволен своим положением, что пока не могу вернуться, но буду им писать, время от времени. И закончил :

« Простите меня, дорогие, за мой поступок, но я не мог, тогда, поступить иначе. Надеюсь, что вы потом всё поймете и даже меня одобрите ».

Стрего отправил письмо и после этого сказал : — В вашем положении, друг мой, много трудностей... Вы пока « гостите » у меня, как я заявил нашей привратнице. Она меня давно знает и не придирается. А фактически вы нигде не прописаны и висите между небом и землей... Ваши родители в праве разыскивать вас через полицию, вы еще несовершеннолетний и вполне от них зависите.

— Надеюсь, что они этого не сделают! — вскричал я с жаром, — это на них так непохоже...

— Я тоже надеюсь. Но вы забываете еще об одном — все мы в руке Божией... А если чтонибудь случится с кемнибудь из ваших родителей? Скажем, серьезно заболит... ведь они даже не смогут вас известить...

Об этом я как-то не думал. Что может случиться? Они хорошего здоровья, хворают редко; кроме гриппа и ангины не помню никаких болезней. И не так уж они стары.

Стрего как будто прочитал мои мысли. — Несчастный случай может произойти с каждым... и всегда неожиданно — тихо добавил он.

Я ничего не ответил, но эти слова запали мне в душу. Я часто над ними задумывался и не знал как поступить. Ах! если-бы вернулся дядя, от него я смог бы все узнавать, но он почему-то застрял в Гренобле.

Почти целый месяц я усердно убирал мастерскую. Но однажды нашел на конторке конвертик с моим именем. Там лежали деньги и краткая записка, гласившая : « Наша постоянная уборщица выздоровела и завтра возобновляет работу. Благодарю за помощь и желаю всего хорошего ».

С тех пор как я стал регулярно зарабатывать, мы со стариком делили пополам наши общие расходы. За комнату он категорически отказался брать деньги. — Оттого что вы здесь живете квартирная плата не повысилась. Как я платил, так и плачу. Об этом вы не думайте. И я очень рад что вы со мной.

Жили мы скромно и денег хватало. Но теперь снова надо было думать о работе, чтобы заменить доходы от уборки. Мне давали для раскраски 1200 куколок в неделю, остальное было уже распределено по другим рукам.

Известие о потере работы Стрего принял философски. — Этого надо было ожидать, мне сразу сказали, что работа — временная. Ничего, не печальтесь, Саша, — найдется чтонибудь другое... А тем временем мы воспользуемся свободным временем и сходим посмотреть римские театры. Это вам будет интересно.

Мы отправились туда на следующее утро... Поднялись пешком по крутому холму, повернули на улицу Антикай и вошли в прелестный садик, где весело краснели тюльпаны и колыхалась свежая зелень деревьев. За легкой изгородью торжественно возвышались закругленные скамьи амфитеатров, под ними пестрела мозаика настила сцены и тянулись ввысь молодые кипарисы. Вокруг было почти пусто, только на одной из скамеек сидела женщина с двумя детьми; они бегали по дорожке смеясь и крича и голоса их смешивались с птичьим щебетом.

Мы уселись поодаль и Стрего заговорил :

— О христианах, замученных на арене Люгдунума, существует несколько свидетельств : послания христиан отсюда и из Виенны, написанные сразу-же после этого события, — записи от IV века греческого историка Евсевия и позже, в VI веке — Григория Турского...

Некоторые мученики, как епископ Потин, погибнув темницах; тем, кто считался римскими гражданами, отрубили головы, а несколько человек, как юная Бландина, были отданы на растерзание диким зверям и останки замученных бросили в Рону, древний Роданус... Особенно трогателен образ Бландины, молоденькой рабыни. Чтобы избежать смерти, от христиан требовалось только, чтобы они отреклись от своей веры, но никто этого не сделал. На глазах у Бландины ее друзья христиане погибали один за другим... ее и еще одного юношу приберегли напоследок. Видя страдания мучеников, юноша пал духом и был готов отречься от веры, но Бландина поддержала его, укрепила дух и оба одновременно приняли мученическую кончину. Маленькую Бландину поднял на рога и растоптал свирепый бык...

Историки и топографы давно искали место гибели этих первых христиан. Так как Григорий Турский называет его «Атанако», долго думали что арена находилась в месте «Энэ» (Ainau), — так в продолжении десяти веков называлась часть города между площадями Корделье, Селестэн и Гайетон. Там в почве находили много фрагментов мозаики и предметов домашнего обихода, но ни следа амфитеатра... Его стали искать в квартале Св. Иоанна, но тоже напрасно. Затем на склонах Св. Юста нашли два картулария, где упоминалось о «подиуме Атанесском». Оттого открытые там римские развалины стали считать местом гибели христиан. Но при дальнейших работах обнаружилось, что здание было театром, непригодным для цирковых зрелищ. В середине XIX века севернее открыли второй театр... Долгое время историки спорили о них и гипотезы опровергались одна за другой.

В наше время Эдуард Эррио много помог продвижению раскопок. А когда оба театра были отрыты, все историки согласились с тем, что они не могли быть местом гибели христиан, и его поиски продолжались. Тогда вспомнили, что еще в XVI веке, на холме «Круа Русс», в земле виноградника была найдена бронзовая таблица, разбитая пополам, с запечатленной на ней речью Клавдия в Сенате. В наше время начали искать на том месте, где нашли таблицу. Раскопки 1956-7 годов подтвердили правильность догадок. Бурение почвы показало, что под землей находится здание эллиптической формы. И в этом же месте, вскоре нашли плиту с надписью, гласившей, что во время правления Тиберия, амфитеатр был принесен в дар Юлием Руфом, римским первосвященником. Эта находка доказала что именно там и находилась арена, где погибли христианские мученики. И теперь уже предприняты работы, чтобы открыть это священное место...

Веселые дети сновали мимо нашей скамьи, легкий ветер раскачивал тюльпаны, пряно пахла древняя земля.

Строго поднялся. — А теперь пойдём осматривать театры!

Мы вышли из сада на улицу, откуда надо было входить на соседний участок, где производятся раскопки. Купив входные билеты мы направились к древним камням, мимо груд наваленной земли. Ветер усилился. Тонкие кипарисы сгибались в дугу, полевые цветы между плит принакали к земле.

— 108 метров в диаметре! — обвел рукой Строго полукруг ярусов. — Значит, между амфитеатрами Арля и Оранжа, которые меньше на 2 метра, и театром Виенны, что достигает 129 метров... Как обычно, здесь кавеа, оркестр, сцена и входные галереи. Кавеа, где сидела большая часть зрителей, повернутая на восток, как предписывал Витрувий, опирается, как в Гре-

ции, на склон холма, но по римскому обычаю она укреплена двумя сводчатыми галереями и концентрическими стенами. Театр построили с расчетом, приблизительно, на 6000 зрителей, но позже прибавили еще 5000 мест. Над театром натягивали велум, чтобы предохранить людей от солнца и дождя...

Мы поднимались всё выше по обветренным ступеням, чхлая трава пробивалась сквозь трещины в камнях. В зорких прищуренных глазах старика горел живой огонь, ветер вздымал седые волосы и развевал края плаща... Как древний пророк — подумалось мне.

— Вот видите внизу 4 ряда низких ступеней? Некогда они были облицованы белым мрамором, кое где еще есть его остатки. Здесь ставили переносные сидения — «субселлии» для привилегированных зрителей — правителей, сенаторов...

Почти весь строительный матерьял из окрестностей... песчаник, известняк... Кое что привозили из Тараскона и Турнюса, а мрамор из Италии, Греции и даже Египта...

Опустившись мы направились к другому театру. На краю дороги лежали обломки колонн, статуй, сидений... Мы уселись над Одеоном на самом верху. Под нами величавым полукругом спускались обветшалые ступени. Внизу пестрел узорами мозаичный пол. Откуда-то напоззли тучи, заволокли всё небо. Стало темно, вой ветра нагонял какую-то острую печаль.

— Одеон, — сказал Стрего, — предназначенный лишь для выступлений музыкальных или ораторских, посещался только избранной публикой; как видите, он невелик по размерам. Одеонов мало, второй галльский сейчас открывают в Виенне. А теперь попробуйте, Саша, представить себе то, чего нет, но что было: толпу разгоряченных зрителей, колонны, статуи, артистов, горячее солнце над велумом...

Мне показалось, что я действительно вижу всё это. В голосе ветра различал крики толпы...

Я смотрел вниз на симметричный узор мозаики просцениума и вдруг у меня мелькнула догадка, что эти круги, ромбы и квадраты так расположены не спроста... не обозначали ли они места, где следовало находиться артистам?...

Стрего глядел с любопытством как я быстро сбежал по ступеням и стал в середине центрального круга... Наверное, акустика здесь была высчитана и выверена. Теперь, когда упали стены, этого нельзя проверить, но мне казалось, что я прав. Перейдя на соседний квадрат я посмотрел вверх, Стрего стал медленно спускаться... Когда я с увлечением рассказал ему о своей догадке, он поднял брови и задумался.

— А вы, пожалуй, правы... не знаю... но это очень возмож-

но. Молодец Саша, — может быть вы сделали открытие. Это очень интересно...

Я почувствовал, что краснею от гордости.

Упали первые капли дождя. Мы поспешили спуститься и едва дошли до выхода, как хлынул ливень. Пришлось укрываться у привратника.

— Как все это было интересно, — сказал я Стрего с невольным восхищением — и как вы много знаете!

Старик посмотрел лукаво и ответил подмигнув: — Вот, значит, и старые хрычи тоже на что-нибудь годятся...

Ливень прошел и мы отправились домой по блестящей от дождя дороге.

Когда дома я взялся за младенцев, Стрего принялся копаться в своих бесчисленных папках с рисунками. Наконец, извлек оттуда потрепанный альбомчик и долго его рассматривал... Я не мешал, молчать со Стрего было не трудно, а это не часто бывает; обычно в молчании возникает между людьми нечто неловкое, почти враждебное... Но у нас молчание было дружески-внимательное. Мы понимали друг друга и я даже заметил, что он часто угадывает мои мысли; это меня поражало и восхищало. С самого начала нашего знакомства я понял, что Стрего неохотно говорил о своей личной жизни. На вопросы отвечал уклончиво, и я вскоре перестал их задавать.

Но иногда он сам вдруг начинал рассказывать о себе. Так я узнал о его итальянском происхождении. Отец — оперный певец, в начале своей карьеры приехал из Милана во Францию и выступал сначала на провинциальных сценах, пока не сделал себе имени. Потом некоторое время пел в Парижской опере. И наконец обосновался в Лионе, где постоянно выступал. Он женился на танцовщице, тоже итальянке. Вскоре после рождения сына он скоропостижно скончался и мать вырастила Стрего на свои трудовые деньги. Когда сошла со сцены, стала преподавать балетное искусство. О матери Стрего всегда говорил с глубоким чувством. Как-то раз он показал мне фотографии своих родителей: мать маленькая, грациозная, отец крупный, большеглазый, типичный итальянский тенор... О девушке на портрете старик говорил мало, но я угадывал, что она играла большую роль в его жизни.

А теперь он положил передо мною раскрытый альбом. — Вот, взгляните-ка...

Я увидел нежный профиль девочки-подростка, лицо серьезное, напряженное, опущенные глаза... Умелый рисунок

создавал жизнь всего несколькими штрихами. Я узнал черты Эллен.

— Зарисовывал ее когда она играла, упражнялась... — сказал старик с улыбкой.

Я начал перелистывать страницы с живыми талантливими набросками.

— Я впервые встретился с Эллен, — заговорил он, — когда ей было лет 14. Одно время я преподавал рисование в лицее, где она училась, и сразу ее заметил. Во всем облике было что-то к ней очень располагающее. И, несмотря на неблагодарный возраст, она уже тогда обещала стать красавицей. Видите, какие у нее глаза?

Глаза действительно были большие, ясные, какие-то трогательные.

— У нее не было особенных способностей к рисованию, — продолжал Стрего, — но когда я однажды повел весь класс в музей Сен-Пьер, я заметил, что Эллен слушала меня внимательнее всех и подолгу стояла перед полотнами; вопросы задавала умные и вдумчивые и мне было с ней интересно говорить... Но ее сферой была, конечно, музыка. Она с горячностью ей отдавалась и много работала.

Хотя Эллен рано осталась круглой сиротой, она всё же росла в теплой атмосфере любви и привязанности. Родственники воспитывавшие девочку очень ее любили. Они не были богаты, тяжело работали, хотя знавали и лучшие времена. Я вскоре познакомился с этой хорошей семьей и стал часто бывать там.

Эллен рано узнала нужду, была самолюбива и впечатлительна. Ко мне относилась с дружеским доверием, с ней я всегда говорил как со взрослой и она это ценила. Однажды призналась как ей хочется поскорее стать на ноги и не только не быть в тягость, но и помогать семье. С годами наша дружба крепла...

Стрего замолчал и задумался. Я продолжал механически ставить синие и красные точки. Младенцы прозревали и выпячивали губы. В тот вечер я больше ничего не узнал о судьбе Эллен, но еще больше стал о ней думать. Сколько лет могло пройти со времени окончания портрета? На нем ей лет 18, если прошло лет 10, то она еще относительно молода. Как бы я хотел с нею встретиться... Но где теперь она? Я не смел задавать вопросов.

Время шло. Добавочная работа не находилась и я начал тревожиться. На что я могу надеяться? Не поступил ли я опрометчиво, оставив Париж? Но мне не хотелось в этом признаться. Стрего часто отлучался по каким-то своим делам. Од-

нажды он вернулся веселый и с порога крикнул : — Ура, Саша! Продана моя картина, что давно висела в Галерее... ваш портрет. Мы разбогатели и сегодня пойдем кутить...

Я как раз закончил свою раскраску и мыл кисти. Оттер руки пемзой, почистил костюм и мы вышли побродить по старым улицам. Хотя я их уже давно обошел, но гулять со Стрего было всегда интересно. Он то и дело указывал мне на то, чего я без него не замечал. Мы заходили в мрачные дворы с древними колодцами, поднимались по стертým винтовым лестницам, заглядывали в черные окна с решетками... Темные своды угрюмо нависали над нами. Во многих дворах обнаруживались выходы на другие улицы.

— Под нами почва, как пористая губка, — сказал Стрего. — Некогда миоценовое море билось о подножья холмов... Когда строили туннель на Сен-Поль и Круа-Русс, нашли следы прибрежных скал и останки морских животных. Подпочвенные воды здесь с незапамятных времен подтачивают землю на разной глубине. Еще римляне, заметив опасность обвалов, начали прорывать длинные галереи для стока воды. Следующие поколения продолжали работы и теперь под нами целый лабиринт ходов и переходов. Возможно, что там укрывались от преследований первые христиане. А в XVIII веке главарь разбойничьей шайки, знаменитый Мандрэн, хорошо знал эти темные убежища. Он не только скрывался там, но и проносил по ним контрабандные товары, минуя таможенную заставу, что находилась на месте где теперь Консерватория... Говорят что подземный ход на улице Быка, начинаясь в 16-ом номере, тянется до самого Веза. Вот мы сейчас туда дойдем.

Мы остановились перед высокой стройной башней, я считал до верху пять окон.

— Тосканского стиля, — сказал Стрего, любовно оглядывая здание. — В XVI веке в Лионе работало много итальянских мастеров... А теперь войдем.

Заскрипела ржавая железная дверь. За нею узкий коридор уводил во тьму. — Под этими сводами, — обернулся ко мне старик, — лионцы во время последней войны укрывались от бомбардировок...

Железная решетка преградила нам путь, за нею угадывалось его продолжение.

— Дальше не проникнуть, Саша, — опасность обвалов. Туда никто не смеет углубляться. И никто не знает, что там, дальше...

— А как бы хотелось... — сказал я пытаюсь что-нибудь разглядеть во мраке.

— А вы думаете, мне не хотелось бы? — живо ответил Стрего и глаза его молодо блеснули.

Мы вышли на улицу щурясь от дневного света. — Ну, теперь прямо в ресторан... вы верно проголодались, Саша? Хотя пройдем еще по улице Жюиври, там чудесные дома, и полюбуемся великолепным кованым железом. Это в двух шагах...

Улица и впрямь была замечательной; она сохранила нетронутым свое древнее лицо. Но как и повсюду здесь, темные лавочки торговали, в мастерских работали, в мрачных дворах играли дети...

Стрего приостановился. — Анна Бретонская дважды приезжала в Лион, и на этой улице в ее честь устраивали турниры... Сам Байар в них участвовал.

Я удивился, улица мне казалась слишком узкой, но может быть тогда она не была такой.

Мы зашагали дальше. Показался собор св. Иоанна. Старик продолжал рассказывать: — В 1548 году Генрих II торжественно подплыл на корабле к городу по Соне. По этому случаю лионцы устроили торжественные празднества...

Поровнявшись с собором, Стрего указал на его фасад с многочисленными статуями, часто обезглавленными и изувеченными:

— Это — следы братоубийственных войн и разгула великой революции. Генрих IV, прибыв в Лион в 1595 году, положил конец междуусобице. А в начале XVII века в этом соборе совершилось его бракосочетание с Марией Медичи... Кстати, Саша, советую вам на досуге посмотреть барельефные медальоны на паперти... Чего вы тут только не найдете — крылатые чудища, наяды, ведьмы, свастики... А в соборе — знаменитые часы с движущимися фигурами.

В ресторане «У Гаргантюа» Стрего сам заказал меню, выбирая специально лионские блюда: лионскую колбасу, лионскую запеканку, соус с пышным названием «Котелок Генриха IV» и т. д. Мне всё понравилось, начиная от мягкого вина «Кот-дю-Рон», кончая мороженым со сбитыми сливками, не даром город славится своей гастрономией. Понравился мне и ресторан — небольшие столики, белоснежные скатери, уютный полусвет, низкие своды, расторопные официанты... Мне было весело со стариком. Он смешил меня, рассказывая забавные анекдоты, добродушно надо мной подшучивал, вспоминал свои школьные годы...

За соседним столиком ужинала веселая компания молодежи, три девушки и три длинноволосых молодых человека. Они слишком громко говорили и смеялись. В зеркале я видел их отражения, — сидели в обнимку, развываясь, девицы хохоча

хлопали мальчишек по рукам, все много пили. Одна из девушек перехватила мой взгляд в зеркале и стала пристально смотреть. Я отвел глаза, но вспомнив свою встречу со Стрего в музее улыбнулся... Девушка приняла улыбку на свой счет и тоже улыбнулась. Вдруг подмигнула мне, встала и подошла к нам. Я смутился...

— Добрый вечер! — протянула она руку сначала Стрего, потом мне. Сжав мою ладонь она ее слегка задержала.

— Здравствуй, Нини, — ответил старик насупившись. — Ну как дела?

— Спасибо, хорошо.. Можно? — спросила она пододвигая свободный стул и села между нами не дожидаясь разрешения.

Она была смугла и худощава, мне не нравились ее повадки и прическа с волосами, затянутыми в огромный шиньон на макушке. Глаза были обведены черной линией, что придавало жесткость их выражению. Юбка выше колен открывала длинные тонкие ноги.

— Как здоровье отца? — обратился к ней Стрего. Нини пожалала плечами.

— Скрипит понемногу... Теперь у него какие-то осложнения с печенью и характер стал еще хуже... Это ваш родственник? — спросила она глядя на меня.

— Сын моих друзей, — уклончиво ответил старик, — приехал погостить из Парижа.

Нини меня внимательно разглядывала. — Лион после Парижа вам наверное кажется деревней?

— О нет, он мне нравится, я люблю старину.

— А я не могу дождаться когда наконец снесут все эти грязные трущобы и заменят их современными комфортабельными домами...

— Нини — наша соседка, — пояснил старик. — Живет в нашем доме, двумя этажами выше. Я знал ее еще ребенком. Помню и ее покойную мать.

Позади задвигали стульями... Веселая компания собиралась уходить. Идем, Нини, пора! — позвали ее.

Прощаясь Нини опять задержала мою руку и многозначительно посмотрела в глаза. — Рада была познакомиться... Будем встречаться?

Я молча поклонился. — Хотите контрамарку на « Мамзель Нитуш »? — предложила девушка. Стрего промолчал, я поблагодарил, не говоря ни да, ни нет.

Когда Нини с друзьями ушла, Стрего сказал: — Она — танцовщица в кордебалете. Водиться вам с нею, Саша, не стоит. Это особый мир и не думаю, чтобы он вам подошел. Но он затягивает как болото. Лучше подальше.

Мне и самому не понравилась развязная компания. Дома у нас всегда насмеялись над длинноволосыми юношами. Отец презрительно их называл «патлатыми». Я сказал об этом Стрего, папино словечко перевел как «chevelue»... «La Gaule chevelue», — засмеялся старик. — Но от галльских качеств у них только и осталось, что космы...

Домой мы опять проходили по старым, скудно освещенным, улицам. Таинственно чернели входы и мне почему-то делалось страшно, днем я никогда этого не испытывал, а теперь казалось, что в этих мрачных коридорах затаились тени. Мне слышалась оттуда легкая возня, шорохи... Я вздрогнул и отшатнулся когда из темноты вдруг опрометью выскочила черная кошка... Стрего взял меня под руку и мы благополучно добрались до дому.

Тамара Величковская

(Окончание следует)



Из рассказов Т. Осадчука персонального пенсионера

1.

Видишь, я сам уже седой, а то было еще, когда дядёк мой в летах не больно старых буфет на станции содержал. Только он не был эксплуататором, нетрудовым элементом — всё совершал самолично с женой и сыном — чуть косым, но несмотря на это толковым. Станция-то наша не из больших, но пересадочная: поезда даже курьерские минут на десять останавливались, а по военному обстоятельству — накануне февральской буржуазной революции самой — и все полчаса простаивали. Буфет же славился пирожками печеными и настойками: дядёк сам их вырабатывал: выпьешь одну стопку, — к другой сама рука тянется, а после третьей — закачаешься и на душе чистый рай. Дядёк как производит настойки, нанюхается, — так и пить ему нет надобности: с одного духу пьян. А помогал ему настойки и наливки производить монах Сапрон, с монастыря по соседству. Ну, и детина был! В плечах — косяя сажень, ручищи чуть не ниже колен, нос щербатый, глазищи страшные, будто и не служитель культа, а убийца. А так, хоть и монах, стало быть, дурман для трудящихся, а добряк сам по себе, ничего не скажешь. А уж бабы нашего поселка все его святым и чудотвором почитали: народ-то темный был при буржуазии и помещиках. Ну, и всяк раз, как хвороба прикинется — у самих ли, у скотины ли — так и идут не к фершалу нашему, по-нынешнему к лекпому, а непосредственно к Сапрону. Фершал, лекпом, значит, дюже обижался. А как он, лекпом, из ученой интеллигентской прослойки, то, понятно, неверующий, и, конечно, зубы скалил: такого детины, мол, как Сапрон, не только хвороба, а сама смерть спужается — очень просто: завидит такую громадину — и наутёк.

Но это все ни к чему. А вот что, главное, с Сапронем тем было. В буфете железнодорожном, ясно и определенно, посты и при царизме не соблюдались: всякий ведь люд по дороге ездит, — вот и держали про всякого потребителя. А Сапрон-то в те дни, что настойки вырабатывались, не только назад буфета, так сказать, в производственном помещении, но и в самом буфете — за стойкой — бывал когда как. И видит: сидит за столиком в зале для принятия пищи батюшка какой-то

проезжий, солидный такой, не обнаковенный служитель культа, а в золотых очках и при портфеле. И заказывает он — это в среду-то на первой неделе поста! — свиные отбивные и водочки графинчик, в иголочку замороженный. Добро бы чиновник там, прапорщик или дама, а то — иерей! Тогда то было прямо вразрез генеральной линии старого режима. Вот и подали тому попу в золотых очках отбивные. А Сапрон увидал, побледнел весь, сказать — не сказал ни полсловечка, а только молитву пробасил в усищи, бороду одной ручищей оглаживает, а другою на свининку батюшковую указывает. И вот — думай, что хочешь : тогда говорили : чудо. Думаю, по научному, скорее гип-нос. Только перед служителем культа тем на тарелке не отбивные, а щука с картохой на постном масле. Вот оно как. Выпятился тут, поп тот, значит, а потом сообразил, весь затрясся, перекрестился мелким крестом, и даже к щуке и не притронулся : в вагон свой быстро-быстро побежал : проняло, значит.

Было и совсем напротив того. Часовщик тут был у нас — рядом прямо со станцией. Исай Ароныч. Частник, еврей, но хоть и еврей, а человек очень даже хороший. Вставит, бывало, в один глаз малюську-трубочку черненькую, увеличительного характера, другой глаз призажмурит, а сам струментом мелким нутро любых часов переберет, переберет — и всякие буквально исправлял на совесть. И вот : частник, а даже почти бы и революционер : журнал такой — « Ниву » — выписывал с приложением произведений родоначальника соцреализма Алексея Максимовича товарища Горького. Любили нашего Исаю Ароныча все, только многие трудящиеся страдали : ну, почему — еврей?! Креститься бы ему — совсем душа-человек бы стал. Ведь даже водку пил по-русскому. Тогда ведь многие еще, даже с пролетариату, верили в дурман для народу — в церкву. А вот свининки-то наш Ароныч ни-ни. Ни в какую.

Зашел он тоже раз один в буфет дядькин. Как-раз был тогда там и Сапрон. А Исай Ароныч ехал куда-то, очевидно, по производственной причине. Я того толком не знаю : сопливым был еще тогда, под стол пешком ходил. Вот и заказывает Исай Ароныч, значит, щуку фаршированную и водочки шафранной. Подали ему. Только воткнул в щуку вилку, ко рту своему поднес, а на вилке — поверить трудно! — кусок свинины... Что за чудо! А тут к Исаю-то Сапрон :

— Исай Ароныч, — говорит так ласково, — милый вы человек, всё одно уж оскоромились против своего закону. Теперь один выход — креститесь...

Сам улыбается, аж пузо и борода трясутся от удовлетворения : ведь это он, Сапрон, тоже произвел. Или там — гип-нос.

Или — переход материальной энергии в другую форму по диалектике. Пусть уж ученые разбираются — что к чему и почему.

А только, действительно, Исай Аронич видит — делать уже нечего. Потому свининка-то уже на зуб попала так или иначе. Вот и крестился.

Оно, если рассматривать не диалектически, то, понятно, дурман или, как у Маркса, опиум. Но ведь по тогдашней линии все-таки и другое: тесное включение своей личности в героический русский народ, колыбель мировой революции. Это тоже дело нужное в последующих советских текущих годах.

Отцом же крестным, ясно и определено, был мой дядёк, как у него всё это произошло: Никашин, Иван Артемыч.

2.

Как я член партии не с ленинского набора, а аж с двадцатого году, то меня использовывали на руководящей партийной и советской работе. Ну, и выступать, понятно, приходилось. И не раз, скажем, в году а почасту, во все праздники Первомай, Октября, по другим также случаям. И вот тут приходилось не раз и не два сталкиваться со злобной змеиной тактикой затаившейся контры — осколков нашей буржуазной интеллигенции.

Как сейчас помню один случай. За работой, конечно, за общественной нагрузкой и марксистско-ленинской учебой мне, понятно, часто недосужно было уследить завсегда в точности и в ажуре за нашей текущей советской печатью. Этим и пользовались, гады ползучие.

Припоздал раз я на собрание. Только слышу: «Гитлер... Гитлер...». Ну, а я, сказать по-правде, чудок выпимши был: чувствовали ударников производства в пригородном хозяйстве нашего предприятия. Где б моему референту из бывших — даже личному, понимаешь, *личному* дворянину в прошлом, — меня упредить — что, мол, и как. Так нет же! Не упредил, кусок троцкиста!

Вот я, после аплодисментов, после «все встают», как обычно, и выступил с речугой. Только было начал: «Мы, мол-де, Гитлера этого, гада фашистского, в клочья порвем — со всем его империалистическим охвостьем»... — а меня из-за стола за штаны — хватить! — и тянут, что есть силы, в соседнее помещение:

— Ты, Осадчук, что это, — и пальцем около носу туда и сюда, чуть в глаза не тычут, и матерком, и матерком: — Ты что, сволота, ошалел? Газет не читал?! Ведь собрание у нас в

ознаменование пакта, оно против англо-американского и французского империализма. А трудовые массы Германии и германский вождь прислали к нам ихнего Рибентропа. И вот они с товарищем нашим Молотовым и подписали договор... И сам наш любимейший вождь народов и... А ты, гад..

А референт мой, шукура, тут же вертится и прямо изгаляется... Хотел было ему дать по портрету, да смягкитил : не время. Нужно в таких случаях, когда, хотя и нехотя, но уклонился от генеральной линии партии, отойти по́тиху в сторонку, авось мимо пройдет. По принципу : три к носу, всё пройдет...

Ну, тут — недалеко время — всё и обнаружилось, что я с марксистско-ленинским чутьем и подходом — но не вполне во-время — предвидел : таки напал на нас Гитлер со сворою. Но то было вполне после. А тогда — схватил строгий с предупреждением.

3.

Вот нет у молодежи нашей нашего, старшего поколения, чутья. Вырабатывалось-то оно в процессе классовой борьбы и марксистско-ленинским воспитанием и вытекающей отсюда в прямой закономерности диалектического принципа противоположности — бдительности. И как при этом воспитании чутья анализа легко было разобраться : что и к чему. Вот, скажем, хотя бы в актуальном вопросе : где, видишь ли, пролетарский международный интернационализм, а где — мелкобуржуазный национализм и космополитизм с безродно-космополитическим и империалистическим сионизмом.

А тут приходит ко мне внук : сам давно ли титьку материну сосал, а туда же, учит, орет, как оглашенный : — мы-де, молодежь то-есть, против сталинизма...

А я к нему : — А где-то ты это о сталинизме прочитал? Кто из наших вождей партии и правительства такое говорили? Я сейчас, как у меня, как стал персональным пенсионером, время стало много, — все основные советские прессы читаю : в какой, спрашиваю внука, ты нашей советской прессе, дурной молокосос, о Сталине и сталинизме прочел?!

Ну, понятно, запутали тут и намудрили те, что постарше. С чего-то им, видите ли, чего-то *пересмотривать* надумалось. А ведь и без этого пересмотру не так легко, если по совести сказать, было и нам, старикам, иной раз разобраться. Вот, помню, раз меня прямо-таки взорвало. Перевели меня тогда, значит, с высоко-ответственной работы директора колбасного завода имени товарища Тельмана в директора театра областной оперетты имени Клары Цеткин. Ну, обидно, конечно. А на кол-

басный, значит, заместо меня, — будущего безродного космополита гражданина Гинзбурга. Меня и заело : — почему это, спрашиваю, у меня партстаж с 20-го, а у Гинзбурга всего с 39-го. За что это?! А мне говорят в горкоме : — « Вы, дорогой товарищ Осадчук, без адекватной в общем и целом специальности, а Гинзбург окончил, видите ли, институт пищевой промышленности »... А я к им : — Ну, ладно, допустим. Хай он специалист, интеллигент. А вот и на кондитерскую фабрику имени товарища Дзержинского тоже не меня, а гражданина Каца? За что, говорю им, боролись, кровь в гражданку проливали? Гинзбургов и Кацов на хорошую работку, а меня в оперетту? Почему на хорошие места только из *нации*?! — А в отделе кадров горкома прямо вызверились на меня, грозно так : — « Из какой-такой *нации*, товарищ?! Выражайтесь поосторожнее... ».

А вскорости и выявилось, что к чему. Выявилось ясно и определено, что это — даже вовсе и не *нация*, а много, сильно хуже : безродные космополиты. Вот тогда-то, как протестовал, мне чуть-чуть не вlepили по первое число, а через короткий отрезок времени, помню, взял я себе в заместители — тогда я директором музыкального техникума имени, простите, бывшего товарища Бериин был, — взял, значит, в заместители по учебной части вилланчелиста Гершковича. И вызывает меня сразу же в горком : — « Ты чего, мол, Осадчук, сионистов пригравашь? А?! »

Нет, тут без марксистско-ленинского чутья пропадешь! Особенно же раз мы в империалистическом окружении. Тут понимать надо.

А тогда тоже : Клара Цеткин. Вызываю я к себе в кабинет дирижера, секретаря парткома Бесхлебникова, профкомовца Криворучко — из интеллигентов, — и говорю : что-то у вас, товарищи дорогие, неувязочка : недосмотр, возможно : или наш техникум имени Клары Цеткиной, или товарища Карла Цеткина. А то : Клары Цеткин... — Выявите, говорю, виновников неувязки.

И опять эта интеллигенция : не предупредили. А разве за всем уследишь?

4.

А было в течении моей жизни и такое : после, скажем, колбасного завода и оперетты — перевели меня в председатели промысловой артели трудящихся художников « Кооперативный Художник Революции ». Вот и найдись сразу : на колбасном заводе ясно : скажем, повышение выпуска продукции и уде-

шевление этой самой продукции. Сразу понять можно : положить в колбасный фарш побольше крахмалу — вот тебе и затрат меньше, и продукцию заметно повысить можно, и за перевыполнение плана благодарность и премия. И никто не страдает, и потребителю без вреда : крахмал-то ведь — тоже продукт питания. А вот найдись-ка сразу — как в художественной артели быть? Но, оказывается, и тут найтись можно. Нужно только не забывать марксистско-ленинской диалектики и принципов соцреализма. Вот, скажем, работка « Кооперативного Художника Революции », прямо сказать, хуже, чем сезонная : от случая к случаю : к первому мая, к Октябрю, ну, умрет кто из вождей всесоюзного или местного характера. Тогда и кормились. Зато тут уж не зевай : тут и громадные портреты для улиц на полотнах, портреты красноуголкового масштаба, и клубные типовые, и транспаранты, и всё это к сроку, к сроку! И еще узкое место данного производства : скажем, закажут к Первомаю портреты вождей, а тут один или два из них оказываются в самый последний момент право-левыми уклонистами или — того хуже — кровавыми псами международного империализма. И хорошо еще, коли это товарищ, бывший то-есть товарищ, общеевропейского обличья физиономии — его еще как-никак переписать наскоро можно, а коли, скажем, такой, как бывший Мао-Цзе-дун?! Как его китайский узкоглазый портрет на какого-нибудь Ульбрихта перепишешь? Опять-таки — у дорогого товарища Ульбрихта бородака аккуратная, а у бывшего Мао-Цзе-дуна, скажем, голо, как у телушки под хвостом... Беда, да и только!

Но и тут можно сообразить. Худрук нашей артели, товарищ Сапроненко, здорово надумал : большие уличные полотна портреты и транспаранты — они рисовались в один тон, прямо по транспаранту, разбрызгивателем. И вот придумал товарищ Сапроненко такие портреты и транспаранты делать сначала, так сказать, полуфабрикатами, типовыми : вожди всесоюзного масштаба и вожди иностранных коммунистических партий, кто поважнее, только анфасные, в профиль только покойный товарищ Дзержинский. Вожди местного характера и иностранные помельче — те в полупрофиль. И все — и мужчины, и женщины — только в бюст, чтобы какие хулиганы или контры ночью — не дай Бог — чего не пририсовали... Женские, впрочем, только два : Долорес Ибарури и Фурцева. И то не всегда, к случаю. Так вот : всего, значит, четыре типа полуфабриката для уличных портретов : восточного типа, круглолицый, понятно, европейского с усами, европейского в пенсне без оправы — бабочка называется, это без усов, конечно, и рядовой женский. Как нужно, скажем, было Сталина — то к

полуфабрикату европейскому с усами еще пририсовывалась трубка и кепка, а бывшего Кагановича — с усами, но без трубки. И так — две-три черточки каждому, портрет и готов. Бывшего Берию — то полуфабрикат европейский, но без усов, а напротив, в пенсне-бабочке. Покойный Калинин — к полуфабрикату с усами европейского типа прибавлялись борода, волосы полуначесом и очки. Вот и успевали всё к сроку — зараннее-то полуфабрикаты готовили.

И вот раз, как сейчас помню. Заказали нам, в числе прочих, Берию. Только успели его обработать на уличный масштаб, а он уже и стал кровавым псом. А мы еще не знали. Явились заказчики — и с ними, конечно, контролер по политическо-художественной части. Смотрит, хмурится, и прямоком ко мне :

— Это что же вы, — орет, — портреты врага народа, гада Берии не изничтожили?! Да знаете ли... — и пошел, и пошел... А пока он разорялся, Сапроненко, ну, прямо, чудотвор, и успел всё перебрызгать на нужный лад :

— Да вы ошибаетесь, товарищ дорогой, — так ехидно контролеру : — Что ж это вы, товарищ, никак спутали товарища Ульбрихта с агентом мирового империализма Берией?! Нехорошо это, товарищ...

Смотрит контролер, глядят и заказчики — и даже рты у них поперек стали, действительно, Ульбрихт... Смутились совсем, извиняться стали, от страха даже заикаются...

Так своевременно и бывшего Маленкова на тогда еще не бывшего Мао-Цзе-дуна переработали. В общем, если подойти и к художественному производству, то и тут можно, если понимаешь дело, и генеральную линию неуклонно соблюсти, и план перевыполнить. Но нужно, конечно, иметь настоящее марксистско-ленинское чутье анализа.

Записал Борис Филиппов



О БЫВШЕМ

(Продолжение *)

1902

Пишу вечером четвертого Марта того же года, продолжение предыдущего.

После второго заседания Философов был у нас однажды днем, и на среду, второго Января, назначена была у нас общая молитва, вечерная служба, которую Философов с нашей переписал в свою тетрадь.

Мы решили шить одежды не белые, а красные, потому что белых еще не были достойны (сказано: «*Побеждающему* дам белые одежды»), форма их — эпитрахиль до полу.

Философов настаивал на белом бархатном кресте спереди, что и было принято.

Числа двадцать третьего я начала шить эти одежды, из красного шелка, всё, как было условлено.

К первому Января они были готовы. За день не хватило белого шнура для обшивки третьей одежды, и я ездила за шнуром.

1902

Первого Января 1902 днем пришел Философов, и сидел в комнате Дмитрия Сергеевича, и списывал в свою книжку поправки Дмитрия Сергеевича, и разные изменения.

Потом мы пошли в другую комнату, пили чай и говорили. Философов был немного молчалив, но он был болен.

И Философов спросил, готовы ли одежды и просил меня их показать. Я встала, но в эту минуту позвонили.

И пришел Скворцов, во фраке, и стали говорить о реферате Дмитрия Сергеевича, на Собрании 3-го Января. Он должен был читать о «Святой Плоти», но я не советовала, ему тоже не хотелось.

Об этом рано было говорить.

И Скворцов предложил читать другую часть, а именно «об отлучении Толстого», на что мы все сейчас же согласились.

*) См. «Возрождение» № 217 и № 218.

Потом Скворцов ушел, и Философов опять сказал: « Покажите одежды ».

Я вынула его эпитрахиль. Через голову нельзя было надевать, если сшить — отверстие слишком широко, а потому там была белая петля и красная, горящая пуговица.

Эти горящие пуговицы очень нравились Дмитрию Сергеевичу, и он сказал, что хорошо их надеть на голову, на узкой красной ленте, и накануне примерял и радовался.

Философов встал и надел на себя свою эпитрахиль, стоял прямо, а я стала на колени, на ковер, чтобы видеть, до полу ли одежда.

Она ему была длинна, но он сказал: « Ничего, это лучше, будешь помнить, чтобы не запнуться ».

Дмитрий Сергеевич сказал ему о пуговице, и я взяла ленту с нею, и повязала ему на лоб.

Так мы на этом решили, и должен он был придти завтра в половине одиннадцатого, на том ушел.

Я купила большой плоский бокал, стеклянную чашу для вина, а вино у нас было приготовлено, белое, и еще другое, игристое, — шампанское.

2 Января 1902 г.

Дмитрий Сергеевич второго числа целый день ходил, купил цветов, и масла душистого, и кисточку с крестом, и пять хлебов.

Ритуал был у нас с Дмитрием Сергеевичем переписан у каждого в одинаковую красную тетрадку.

Сначала Дмитрий Сергеевич купил хлебы слишком маленькие, потом пошел опять и купил пять больших, круглых.

В десять часов я сказала, что так как « может быть придет Дмитрий Владимирович, то чай надо подать ко мне ».

Мы хотели чай и самовар прикрыть, и тогда к нам бы не вошли. А что Философов у нас будет — лучше было сказать.

И когда все было принесено, и ушли, Дмитрий Сергеевич вынул и развязал наши тресвечники, они были мутные, потускшие, и чем-то закапанные, я стала чистить, и что-то отлетело и попало в глаз.

Свечи вынули и вставили, потом вынули свечи поменьше, три, с цветами и лентами.

Цветы с весны засохли, и я стала развязывать ленты, сидя у огня, и к каждой свече привязала по три свежих цветка, два красных и один белый.

Дмитрий Сергеевич ходил и все прибирал и устраивал, вынул ту скатерть, весеннюю, ни разу не употребленную с тех

пор, положил ее вдвое на круглый стол, а на стол поставил свечи.

Когда я уже последний цветок привязывала, Дмитрий Сергеевич сказал :

« Вот, он пришел ».

Звонка я не слыхала.

И Дмитрий Сергеевич быстро пошел в переднюю, а я осталась.

Он тотчас же воротился и сказал : « Возьми, возьми, вот письмо от него. Не придет ».

Надорвал конверт — и отдал мне. « Читай, я не могу ».

Я прочитала письмо вслух.

Письмо было такое : « Благодарю вас, друзья мои, что вы мне указали пути. К вам сегодня не приду. Не кляните меня и верьте, что я все-таки вас душевно люблю ».

Мы молчали, а потом я сказала : « Пойди к нему ».

Дмитрий Сергеевич сказал : « Постой... постой. Надо понять. Надо подумать. Что-нибудь случилось ».

Я встала и стала переносить чайный прибор в столовую, одну вещь за другою.

Дмитрий Сергеевич ходил за мной, взад и вперед. Потом сказал : « Я пойду ».

Оделся и пошел, а я всё переносила чашки, и самовар, а когда всё перенесла, вынула свечи и связала, спрятала скатерть, но подсвечников не могла одна увязать.

Дмитрий Сергеевич тотчас же воротился и сказал : « Меня не приняли. Он спит. Это неправда. Он сам принес письмо. Что нам делать? »

Я сказала : « Вот, давай увяжем подсвечники ». И мы их с трудом увязали и спрятали.

Потом я отвязала цветы от свечей и бросила в огонь. Они тотчас же почернели и сгорели.

Дмитрий Сергеевич сказал : « А хлебы? Их надо тоже сжечь. Будут ли гореть? »

Он принес хлебы, и я, сидя у камина, ломала их на куски и бросала в огонь.

Хлеб был мягкий, свежий. Но не чернел, горя, а весь кусок занимался тихим, синим пламенем и распадался в пепел.

Но горел долго, и когда все пять сгорели, было уже поздно.

Дмитрий Сергеевич говорил : « Это я виноват, не бойся. Я мало сил тратил на это дело, не всё сделал, что мог. Мы мало дали, — и вот, всё у нас отнялось. Не бойся ».

Мы тихо, шопотом, говорили с ним, а потом он ушел к себе.

Я долго была одна, а потом опять он пришел, уже раздетый, и принес Новый Завет, и сказал :

« Вот, я открыл, посмотри, какие слова ».

Было это из посланий Павла : « Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать... »

Потом опять говорили мы тихо, и он ушел.

Утром, третьего Января, Дмитрий Сергеевич пошел к Философову в библиотеку. И вернувшись, сказал мне :

« Он обещал придти сегодня днем и поговорить с нами. Я сказал, что почему он сразу не скажет, что же случилось, и что об этом нельзя писем писать, и что не уверен, точно ли он придет, лучше подожду его, но он ответил, что ждать нельзя, что он придет наверно, а сказать, говорить, он должен перед нами двумя ».

В пять часов от него пришла записка, из редакции Дягилева : « Дмитрий Сергеевич, я всё еще нахожусь в состоянии колебания, и пока я в этом состоянии — прошу вас оставить меня в полном покое ».

Мы помолчали, а потом Дмитрий Сергеевич сказал : « Я пойду к дверям редакции и буду его там сторожить. Я не понимаю. Я не верю ».

И пошел. Перед обедом вернулся, ничего не сказал, лег.

У него очень голова болела, а вечером надо было читать.

Если бы не его реферат был, — мы бы в Собрание не поехали. Нельзя было ехать.

Он вперед уехал, а я после поехала.

Расписываясь в книге — я вдруг увидела, рядом с Дягилевской, подпись : Д. Философов.

Мы никак не могли думать, что он поедет в Собрание. Всё было непонятно, темно до корня.

Войдя, я села у дверей и не двигалась. Дмитрий Сергеевич читал вяло, насилуя голос. Было много народу.

В перерыве кто-то мне сказал : « Какое лицо у Философова! Краше в гроб кладут ».

Соловьева 5) прибавила : « Точно из "Песни торжествующей любви" — Тургенева ».

В перерыве же я столкнулась с ним во второй комнате. Мы молча подали друг другу руки, и я отошла.

С ним был Дягилев и другие из *Мира Искусства*.

Я, отойдя, сказала Дмитрию Сергеевичу : « Он здесь, ты можешь поговорить с ним, если хочешь ».

Дмитрий Сергеевич ответил : « Я не сказал тебе, я видел

5) Примечания см. стр. 74-75

его в редакции, и он сказал, что дня через три-четыре сам придет, непременно, и тогда поговорим».

Я ответила: «Ну, этого не будет. Он не придет. И уедет за границу».

А были раньше слухи, что он поедет за границу лечиться, но он отрицал.

Дмитрий Сергеевич на слова мои возразил: «Я спрашивал его, и он сказал: "Я не уезжаю"».

В этот вечер в Собрании я потеряла из кольца большой бриллиант.

Пятница прошла, и ничего, — в ожидании нам (известного заранее) приговора.

Дмитрий Сергеевич писал письмо за письмом и рвал. Я ничего не писала.

В субботу утром привезли из корпуса к нам племянника Дмитрия Сергеевича, маленького кадетика (отец Дмитрия Сергеевича просил взять на 1 день).

Он был хороший мальчик и всё бегал, да играл в солдатики. И мы с ним должны были играть в солдатики.

Вечером у нас был народ, молодые профессора Академии, Розанов, Минский.

Розанов сказал: «Бедный Философов! Сегодня узнал, что он сильно болен, и его увозят за границу».

Потом вечер прошел, и все ушли.

Дмитрий Сергеевич сказал: «Я не пошлю ему этого письма. Он, действительно, болен. И это у него тоже от болезни, иначе нельзя объяснить. Он не сознаёт, что он делает».

Я взяла письмо и спрятала. И сказала: «А завтра еще надо будет последнее от него перенести. Какое унижение — не нас, а...»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Молчи, не надо. Тут была кровь — и будет кровь. Ведь ему от этого можно уйти — только в смерть».

Я ответила: «Свое можно простить. А не наше — не нам прощать».

На другой день, в воскресенье, я опять играла с Борей целый день в солдатики. А к обеду должны были придти отец и брат.

Мы играли с Борей в столовой. Ему было ужасно весело. Когда позвонили, я прошла к себе.

Это был Дмитрий Сергеевич. Он протянул мне распечатанное письмо: «Посмотри. Это невероятно. Ты была права».

В письме стояло: «По зрелом рассуждении я должен написать следующее. Я выхожу из нашего союза не потому, что

не верю в дело, а потому, что я лично не могу в этом союзе участвовать ».

Далее еще несколько таких же слов с повторением и подчеркиванием, что он верит в *общее* « дело », но всё-таки благодаря каким-то *личным* соображениям, принужден его разрушить.

Боря переселился со своими солдатиками ко мне, а потом сейчас же пришел отец, и, кажется, брат (или не брат?), и было шумно.

Потом, после обеда (это было шестого, в Крещение), Борю увезли в корпус. И я не очень хорошо помню, что было потом.

Только вечером поздно Дмитрий Сергеевич сказал мне : « Знаешь, это что-то столь невероятное, что мне кажется, будто я сошел с ума. Я пойду к Дягилеву ».

Я удивилась : « К Дягилеву? »

Дмитрий Сергеевич сказал : « Ну да, я по крайней мере буду знать, Дягилев ли тут причиной, или нет. Что бы он мне ни говорил — по тому, как он будет говорить — я это узнаю ».

И утром он пошел, и вернулся, когда я еще лежала в постели.

Дягилев, по словам Дмитрия Сергеевича, — очень удивился и как будто ничего не знал, и даже обиделся, что не знал. Конечно, Дмитрий Сергеевич ничего ему не объяснил, а только сказал, что Философов без причины с нами поссорился, не на личной почве, и уклоняется даже от разговора.

Дягилев, будто бы, сказал, что, по его мнению, это все от болезни. « Он безумно испугался своей болезнью ».

Я вспомнила, что Философов несколько дней тому назад — ну, может быть, недели полторы — писал : « Я не боюсь болезни, я тут не мнителен... »

Испугался болезни? Как? Богооскорбление, Богоубийство — как лекарство от болезни? Мы не очень поняли.

Затем Дягилев сказал, что он в ужасном « настроении », и что лучше его теперь не тревожить, что через три дня он уезжает, а что он, Дягилев, ему ничего не скажет даже об этом разговоре.

На том и разошлись они.

Дмитрий Сергеевич сказал : « Я уже столько унижений вытерпел, что могу терпеть и дальше. Я виноват, виновата и ты. Я до такой степени ничего не понимаю, что готов предположить и то, что виновата тетрадь, которую ты дала читать ему вслух. Не понимаю, как виновата — но всё возможно в этой слепоте ».

Может быть и тетрадь. Может быть и болезнь. Может

быть он. Может быть мы. Как мы не знали, так и до сих пор не знаем. Глухая петля.

Личное оскорбление — лучше; там можно простить. А здесь нет права простить. И жалость — человеческая — к оскорбляющему Того, Кого нельзя оскорблять.

Может быть, первые, те, оставшиеся, ученики Его — сквозь боль, ужас и негодование — жалели Иуду.

Дмитрий Сергеевич сказал : « В первый раз в жизни я так ясно и близко увидел — Зло. И такое именно, какого боялся : тупое, слепое, грубое и грузное. Страшное не ужасом, а отвратительностью и глухим бессмыслием ».

И прибавил : « Я неверно сказал о личном унижении. Какие тут нам могут быть унижения! И пускай будут ».

Я согласилась с ним, так думала и раньше. Унижений и для меня нет.

Но пока он болен — оставим его. Подождем. А потом... простить, ведь, нет права.

Дмитрий Сергеевич всё-таки решил еще написать ему, и было написано два письма, одно Дмитрием Сергеевичем (переписано мною), другое нами обоими.

Первое, в понедельник, — довольно сдержанно говорило о том, что мы не верим ничему личному, способному разрушить общее, и был вопрос : « Неужели уедете, не простившись с нами? »

Во вторник на это письмо была строчка ответа : « Не зайдете ли ко мне днем в пятницу? »

Мы знали, что он выходит, Дмитрий Сергеевич видел его на извозчике, знали, что в пятницу вечером он уезжает. Днем в пятницу он звал нас, чтобы избежать свидания — по крайней мере наедине.

Так мы ему и написали, опять сдержанно и сердечно.

Ответ через два дня : « В пятницу я уезжаю. Еду лечиться и ни на какие разговоры не способен. Шлю вам мой привет, надеюсь встретиться с вами окрепшим. Преданный вам... »

Ему отмщение — и Он воздаст. И если Он захочет, и укажет, — мы будем орудием.

29 Марта 1902.

Пишу двадцать девятого Марта, в годовщину Бывшего.

Тьма внешняя с нами. На небе сегодня встанет заря ясная, ибо небо чисто, но на земле, где мы, темно.

Его воля во всем.

29 Марта 1903.

Пишу двадцать девятого Марта тысячу девятьсот третьего года, во вторую годовщину Бывшего.

С тех пор случилось вот что.

Философов приехал из-за границы прошлой (02) весной на шестой или пятой неделе поста.

За время его отсутствия мы часто бывали у его матери 6), которая сама все время нас приглашала, и писала письма, и была в Собраниях.

Философову это не понравилось. Но это неважно.

Дмитрий Сергеевич по приезде пошел к нему в библиотеку. Он сказал: «Теперь я здоров. Теперь я могу говорить». И пришел днем.

Пополневший, тщательно одетый, в ярком свете весеннего дня, и очень холодный и грубый.

Повторял всё то же, с прибавлением: «Мне скучно. Это неинтересно».

Позвонили. Случайно приехала его мать. Она — добрая, экспансивная, немножко глупая, либерально-суетливая старая женщина, слезливая. Мне ее всегда нежно-жалко. А Философов с ней неуловимо нехорош.

Так это вышло. Она посидела и уехала. А он остался, и опять говорил мертвенно и безнадежно страшно.

Так и расстались. «Знакомство» как будто сохранилось.

В четверг на Страстной, было это тринадцатого Апреля, я написала с вечера Дмитрию Сергеевичу письмо (со среды), что надо нам двоим молиться, как будто еще нас трое, а так этого дня пропустить нельзя.

Он понял. Было тепло и ясно. Я приготовила немного цветов, просвиру и белого шипучего вина. Мы хотели только молиться вместе и читать Евангелие.

Вечером нас неожиданно позвала мать Философова. Он и не знал.

Пошли. Я отнесла одну из трех приготовленных красных лилий — ей, в его, третьего, дом.

У Философова было темное, злое лицо. А Дягилев был грубоват. Около часу мы ушли.

А в два часа мы приготовились, как могли, я оделась, мы постлали скатерть (ту) в средней комнате, поставили чашу (ту) пустую, прикрытую.

Вино же пили из стеклянной чаши, простой, ели хлеб, и вино было не красное.

Стул Философова был оставлен, пустой.

Мы молились по вечерне, и читали, и были минуты забываемой радости, чистой, как светлое вино.

Радости — и надежды.

Мы молились, как умели, и о нашем третьем, который ушел.

Заутреню мы были в Академической церкви, на хорах.

И не хватало света и радости даже в это радостное богослужение, в светлый праздник.

Но страшна и прекрасна была церковь потом, опустевшая, запертая, — из верхних окон.

Клубы неподвижного сизого дыма, красный отсвет костров, бледные очи весенней зари.

Так это кончилось. А Философов совсем не пошел к заутрене. Оделся — и вдруг остался дома, один. Мать его говорила потом.

Мы виделись изредка. Собrania наши шли живо, интересно, и уже из них стала возникать новая идея — идея журнала.

Но мне было ясно, что Собrania — внутренне кончены, потому что нет внутреннего круга.

Мы узнали много новых людей, узнавали всё больше, из кого состоит Церковь Православная, которая, как тогда еще казалось нам, нуждается в движении, в приятии нового, в изменениях, ибо в ней не отвечающая нашей душе косность.

Постом Дмитрий Сергеевич читал у митрополита Антония последнюю часть Гоголя, где это говорится. Читал против моего совета, ибо уже ясно было, что учащая Церковь не поймет нас, только обидим ее.

Так и случилось. Я тоже была на чтении у Антония.

Священник Альдов представил свой реферат о преобразовании Церкви (очень скромный и наивный). Антоний запретил его даже и читать в Собрании.

Вот из кого состоит ныне православная учащая Церковь : из верующих слепо, по-древнему, по-детскому, с детской, подлинной святостью : отец Иоанн Кронштадтский. Ему мы, наши запросы, наша жизнь, наша вера — непонятны, ненужны и кажутся проклятыми. Из ревнудушных и тупых иерархов-чиновников. Из полу-либеральных индифферентистов, милых : Антоний. Из добрых и тихих полубуддистов : отец Сергей. Из диких и злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов, мелочных, самолюбивых и грубых : отец Соллертинский. Из позитивистов-нравственников с честолубием, жестких : отец Гр. Петров. Попадают такие блестящие, интересные схоластики умом и нутром — как архиерей Антонин, притом, конечно, совершенные еретики, не верующие в подлинность исторического бытия Христа.

Этот архиерей Антонин, ныне епископ Нарвский (недавно) летом даже сходил с ума. Теперь поправился.

Профессора Духовной Академии — почти сплошь позитивисты, иногда карьеристы, а есть и с молодыми, студенческими душами; но и они мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны.

Так вот из кого состоит в данный момент истории Православная Церковь.

Говорю теперь зная, имея опыт. И веруя в ее подлинность, истинность невидимой Церкви.

Но не веруя, что она есть последняя, окончательная, всё уже в себя включившая Церковь.

Ибо ведь недаром она, видимая, из людей состоящая, такова. Отстранив всех, лишь по внешности в ней находящихся, — получила *одного* отца Иоанна и к нему приближающихся.

Всё ли человеческое разумение, все ли ответы на нашу боль и муки, всего ли Христа *уже* включает в себя святость отца Иоанна?

Увы, увы! Как отсечь нам наше *разумение* любви, нашу жажду святости разумной молитвы — о жизни, о мысли, о всем человеке, во всем его теперешнем существе?

« Буду молиться сердцем, — буду молиться и умом... » сказал апостол. А отец Иоанн, вся Церковь — не учат нас молиться и умом.

Но возвращаюсь. Мы видались изредка с Философовым. Когда мы уезжали — за Волгу — он даже провожал нас. Когда вернулись (в Июле), он пришел первый.

Мы говорили о внешнем. В последний день я неожиданно встретила его с Дмитрием Сергеевичем на Караванной. Мы проводили его до библиотеки. И тогда вдруг заговорили и рассказали ему о нашей молитве вдвоем, в четверг. Он молчал. Потом сказал: « Вы всё-таки не покидайте меня ».

Летом стал осуществляться журнал 7). Странно, какое безумие! Точно не мы сами делали. Без денег, безо всего...

Осенью опять мы иногда видались с Философовым. Он бывал у нас, говорили о журнале, о внешнем, — а когда о внутреннем, — он молчал.

Какое у него страшное, мертвенное, покойницкое молчание.

Осенью, в одну тяжелую минуту, я написала ему: « Вернитесь к нам! »

Какие сухие слова в ответ! Потом пришел. Я была одна. Мы кое-как говорили. Уходя, сказал: « ...но если бы я вернулся — то уже навсегда ».

Еще был разговор с Юрьевским священником, Егоровым.

Этот священник сам предлагал новую Церковь, Иоанновскую.

Но Дмитрий Сергеевич не верил ему, и Карташов (профессор Духовной Академии, странный, юный культурностью, полуживой человек, полупонимающий, задержанный воспитанием, тянущийся к культуре, ее не постигающий и — до конца не верующий) был против него.

Говорили мы пятеро. Философову тоже не понравился священник.

Уходя, Философов сказал мне в дверях: « А вы верите в Карташова? » Я сказала: « Не знаю; ведь он... » Философов сказал: « Да, может быть он всё это принимает только из полубессознательного желания быть во всем с вами. Ведь он влюблен ». Я: « Он очень чистый человек ». Философов: « Да, знаю. Но тут всё смешано в сознании. Вот и я многое... потому что дорожу дружбой вас обоих... А насколько у него сильнее, если он влюблен. Я — и то всё боюсь, что вы меня бросите... »

Я сказала, что это надо выяснять.

Пошли журнальные дела. Собрания 8) очень выродились, да ведь для нас они больше не нужны. И журнал — последний толчок, по инерции, всё от того же *Бывшего*.

Со всеми друзьями Философова, благодаря журналу и их отношению к нему (не хотели соединиться, обиделись) — мы разошлись. Они отошли. И там пошли нелады. С Дягилевым многие поссорились. Философов приник к Дягилеву. И был с нами всё мертвее. Всё страшнее. В молчании.

Последний раз я видела его в самом начале Марта, на большом вечере *Нового Пути*. Он сидел в другой комнате. Дмитрий Сергеевич был болен. И ни разу с тех пор не зашел к нам, и не написал, и не приходил туда, где мы. И все это глухо, страшно.

Двадцать шестого Марта Дмитрий Сергеевич был в редакции *Мира Искусства*. Говорил с Дягилевым, а Философов почти не говорил с ним.

А сегодня вечером, 29 Марта, он уехал с Дягилевым на два месяца в Италию. Видел его еще Минский, и с ним, когда он говорил о нас, о Собрании, Философов был груб.

Двадцать шестого я получила письмо от Карташова, где он говорит, что не может более причащаться в Церкви и умоляет меня и Дмитрия Сергеевича совершить с ним в Великий Четверг вечерю любви, не Евхаристию, а лишь помолиться вместе, т. е. то, что мы делали вдвоем прошлый год.

Карташов ни о чем Бывшем не знает.

Мы послали это письмо Философову с приписками, что он убил нашего действительного Бога, сделал нас слабыми и жалкими. Что он в последнее время преступил даже *человеческие*

пределы с нами, но связь не порвана, тщетно. Просила письмо вернуть.

Сегодня получила его назад.

Некоторые слова моей приписки подчеркнуты синим, и вся моя отчеркнута с замечанием «Декадентство!». Приписка Дмитрия Сергеевича оставлена без внимания.

До этого, до такой грубой ненависти у него еще не доходило. В отношениях последнего времени — мы еще никогда не были.

Вот что осталось от Бывшего. Вот куда привело. Боже мой, дай нам сознание греха!

Неужели так и останемся мы во тьме? О, я виновата! Философов слаб, а когда Дмитрий Сергеевич сказал: «Я буду с вами, как со слабым, буду вам приказывать, это мой крест...», я воспротивилась... Я хотела опять равного... Вижу, виновата... Господи, прости меня! Дай мне опять света... Так тяжело.

Пишу в Великий Четверг того же года, третьего Апреля.

1903

Я что-то глубокое поняла. Поняла правду и милость Божью. И почему Философов должен был уйти. Так — хорошо.

Господи, призри на любовь мою! Дай света, чтобы видеть волю Твою! Склоняю голову. Отдаюсь Твоей любви. Аминь.

1903

Страстная суббота, 5 Апреля, того же года.

Сегодня светская (синодальная) власть запретила Религиозно-Философские Собрания, вопреки доброй воле митрополита Антония. Повод — донос Меньшикова 9) и мелкая пресса.

1906-го года пишу, 10-го Февраля, почти через 5 лет после 29 Марта 1901 года.

И через 3 года после последней записи.

Три года эти для Главного — были для нас самыми важными.

Господи, Твоя воля и сила, а во мне — любовь, вера, свет и радость. Чудесно всё Твое.

Хочется подробно писать, но нельзя. Да и не упомнишь всего. Главное, страшное, светлое и великое.

Мама моя скончалась 10 Октября, в пятницу, 1903 года.

У нее с осени, еще на даче, сердце болело, и всё хуже бы-

ло, и все видели, только мы, четыре сестры, ничего не видели. Точно глаза были удержаны.

Утром за мной прибежали, я пошла, а она лежит мертвая, на полу. Рука еще теплая, без пульса. Сразу, во сне.

Потом пришел доктор и сказал, что кончено.

Я лежала в комнатке под пледом и не плакала, а всё спрашивала, где же любовь, ее любовь, если кончено. Ведь была, — и кончилась? Как же это может быть? Ведь моя не кончилась?

За сестрами, Татой 10) и Натой 11), я послала. Записку. Они пришли. Окаменели сразу.

А я вот что забыла написать раньше, важное : в 1901 году 29 Марта, т. е. после 29 Марта, на другой день, Тата и Ната днем пришли, а я им почему-то дала в столовой попробовать из рюмочки оставшегося в бутылке красного вина, того. Тата сказала : « Какое, точно причастие ». А я налила еще в рюмочку, к ней ландыш привязала и сказала : « Отнесите мамочке, пусть выпьет. Так и несите осторожно в рюмке ». И отнесли, и она выпила.

Так вот и умерла наша мамочка. И тут всё, что затаилось в нас, вдруг наружу вышло. Дмитрию надо было нас поддержать, и он свое со всей силой отдал. Умел раскрыть правду. Помог мне. И нам, сестрам.

Тут ясна стала и Тата. И Ната. И даже Ася 12) тогда, на то время вышла, только потом закрылась опять.

А Философов с первого дня, тотчас же, пришел к нам и так сразу подошел, и почти всё время около был, я всё время его видела — оглянись тут, рядом, близкий, понимающий до дна, вместе страдающий.

Но у гроба в первый день вечером мы одни молились, и Апокалипсис ей читали. « Отрет всякую слезу... »

На похоронах, когда могилу засыпали, мы вдруг все поцеловались, светло, друг другу « Христос Воскрес! » сказали.

И опять Философов тут близко где-то помню.

Потом у нас всё переменялось вскоре, Ася уехала, Тата и Ната стали жить у нас, спали в столовой, а для вещей и работы рядом наняли крошечную, в две комнатки, квартирку, куда днем часто и уходили.

А вечером мы все молились вместе, « Отче наш » читали, « Дух Святой », « Матерь Божия », и еще сложилась сама молитва, чтоб мамочка за нас молилась.

А Философов всё приходил, часто, и всё ближе был. Мы с Татой и Натой понемногу говорили...

Началась тут еще мука с *Новым Путем*. Перцов отказы-

вался, и продолжать можно было только, если Дмитрий Сергеевич роман Петра отдаст, и будет новый редактор.

И уж видно было, что Философов любит нас и любил, любит наше и любил, и даже не как наше оно всё, а как его же собственное, и это всегда было.

Новый Путь — мое детище дорогое было, ему я много сил отдала. Оно, маленькое дело, родилось, ведь, из большого же, единого, Главного.

И Философов согласился быть редактором, Дмитрий Сергеевич отдал роман. И этим реальным делом выявилось наше единение, наша некоторая связь жизни.

Философов с Татой и Натой тоже сблизился. И несколько раз *был*, когда мы все вместе молились.

Я с Татой говорила всё больше. И выяснилось, что она не только понимает, а у нее всё уже точно и было, только не определено так.

И у Наты, по-своему, по-особому.

Дмитрий Сергеевич на маслянице был болен. Я много тут пережила.

На Иматру ездили вчетвером. Философов оставался, но я его уже начала тогда особенно, по-новому, ощущать, *знать* о нем. Знать, когда ему хорошо, когда плохо. И чувствовала, что и у него что-то свое, но тяжкое, свое — но и наше.

Все время непрерывная началась внутренняя *нужда* в нем для всех нас. И вот Страстная неделя уже близка стала.

Пишу в Париже, 9-23 Февраля 1908 года, почти через семь лет после Бывшего.

Пишу ночью. Так случилось.

Вот уже скоро два года, как мы уехали из Петербурга за границу, мы трое, я, Дмитрий и Дима Философов. Два года мы живем вместе, втроем.

Так много было с тех пор, как кончилась запись, что я не могу писать подробно, не упомяну, да и невозможно.

Вот как было вкратце.

После смерти мамы моей стала явной близость наша с Димой. Наша любовь. Тата тоже подошла к нам в Главном, и Ната, хотя меньше.

Наши первые *четверги* были вместе, в маленькой квартирке. Тихие «вечери любви», молитвы и белое вино, виноград, хлеб.

Весной мы уезжали с Дмитрием за границу. Приехали в Августе, жили в Гатчине. И Дима приехал из деревни к нам недели на три. 1904 г.

И Тата и Ната приехали. Тут и Карташев стал подходить. Но только он тогда влюблен в меня был.

Зимой я больна была. Потом 9 Января случилось. Перевернуло нас. 1905 г.

Но собирались всё время, молились.

В Феврале ездили втроем с Димой на Иматру. Хорошо было.

Тут Бердяев стал подходить — издали пока.

С Димой всё сближались, — ссорясь, т. е. борясь в чем-то. Он захотел быть на « ты » со мной и с Дмитрием.

Весной втроем поехали в Крым. Светло и благостно.

Были облака и там, но хорошо.

Оттуда Дима уехал в СПб., а мы с Дмитрием в Константинополь и на Принцевы острова.

Помню, там о Цусиме узнали. Тяжело было.

Вернулись. Дима нам дачу нанял. Тата и Ната уехали на Кавказ в то время. Дача на Карташевской платформе, около Сиверской, — Кобрино.

Дима жил с нами. Дача милая, хорошая. Уже в Крыму мы решили, что то, что думали сделать « когда-нибудь » — надо сделать сейчас, скорее : уехать втроем на время за границу, в Париж, для внутреннего приготовления к Делу.

К 15 Июля Дима уехал на некоторое время к себе в деревню.

Перед самым его отъездом между мной и Димой вышло личное (отчасти личное) недоразумение. Тяжелое. Но не роковое, об этом уж не могло быть речи. Расстаться мы уже не могли.

Дима кое в чем мне не доверял. И прав был. Разве я-то сама могла себе доверять?

Ну, не в том дело. А тут вот что важно : я всё думала об одной мысли, которую стала подкожно понимать : что всё в том, что 1, 2 и 3. Всё в этом и везде.

Так же и : Личность, Пол, и Общественность.

На этом я всё вертелась, и только это в меня проникало.

С Бердяевым на этом сближались, разговаривали.

Дима вернулся в Кобрино. А после в скорости мы переехали в Петербург. Он матери уже сказал, что уезжает.

Этим летом и весной, думая об 1, 2, 3, я поняла впервые (и более конкретно) роль общественности (3). 1905 г.

Тут Дима мне помог. Я была бессильна против идеи самодержавия, как всё-таки более религиозной, чем другая общественная. Я не могла найти против нее метафизических аргументов.

Но стала чувствовать, что должна найти, ибо она — неправда.

Дима отрицал ее — не обосновывая. Пользуясь его чувством — я пошла дальше. И вместе мы поняли, что сама идея личности и теократии в нашем понимании — ее отрицают.

Дмитрий еще не понимал. Помню споры в сумерках, в березовой аллее.

Потом вечером раз — вдруг понял окончательно и бесповоротно. 21 Июля. Я записала на шоколадной коробке: « Да самодержавие — от Антихриста! »

В Диме я всё-таки отрицала его « отдавание », стихийное, стихии революции.

Когда вернулись — пережили октябрьскую забастовку, манифест, московское восстание. Много было страшного, тяжелого и важного.

Уезжать, казалось, нельзя. Мы ждали. За это время часто собирались на четверги.

Бывали с нами Тата, Ната, бывал и Карташов, и еще Серафима Павловна 13).

Но она напрасно. Она — для меня, как потом оказалось. Стала « обожать » меня. Она хорошая, прямая, измученная жизнью... И какая-то в ней психопатия.

Бердяев в мыслях очень сходиллся, слушал. А только не « верил ». 1905.

Качался, как маятник, между « идеалом мадонны и идеалом содомским ».

В самом начале Января (06) ездили дней на 10 втроем на Иматру. Там хорошо было — ледяное солнце, снега. Дима на день раньше уехал, по делу. 1905-1906 — много разговоров с Бердяевым.

Потом много чего было — и не упомнишь. Стали твердо готовиться уезжать.

Дима уехал с матерью (она ехала в Швейцарию, к дочерям), а мы еще остались недели на полторы.

Накануне Диминого отъезда был у нас Четверг.

После уж не было, так молились. И Кузнецов 14) Натин бывал.

Провожали на вокзал Тата, Ната, Боря Бугаев (он нам тоже был близок, у нас и жил, приезжая из Москвы, и на четвергах бывал. Мы любили его, и он удивительный, только легкий), Карташев, Серафима Павловна, Кузнецов, и потом Бердяев приехал — один.

Тата, Ната, Карташев и Кузнецов переселились в нашу квартиру, т. е. последние к ним. Мне так было легче.

Они были — точно «стадо» оставшихся, на перроне. А мы уехали. *Надо* было.

Пишу в седьмую годовщину Бывшего, 29 Марта 1908 г. в Париже.

Кратко попытаюсь о дальнейшем, потому что иначе не успею, пожалуй. Мы должны уезжать из Парижа.

Приехали мы сюда с Дмитрием 1 Марта 1906 г. Дима встретил нас, ждал, приготовил помещение около Etoile.

Прожили неделю. Наняли квартиру, большую, хорошую, новую. 15bis, rue Théophile Gautier, в Auteuil.

Потом уехали в Канн. Т. е. сначала в St. Raphaël, где ночью на горе встречали Пасху, солнце из моря (Estérel), а после еще переехали в Канн.

Наши личные с Димой (двойные) отношения тут очень лопались, и если б Дмитрий нам не помогал и тройственность наша, и любовь, то было бы очень тяжело.

Но всё благо, всё было хорошо.

Мы вернулись в Париж в Мае. Жили до конца Июля. Сжигались — подчас с трудом, с мукой, — но хорошо всё.

В день разгона первой Думы — мы уехали в Бретань.

И там многое переживалось.

Осень мы провели в Компьенских лесах, на вилле в Pierrefond. Там писали статьи для французского сборника нашего. Четверги были всё время. Один раз был в лесу. Свечи на солнце. Дмитрий смутился. Нам еще хочется лампадного света. Осень 1906 г.

Приехали домой. Жизнь шла всё ровно и тихо, с усилиями и падениями.

Приехал Боря Бугаев, поселился недалеко. Несчастный, тоскующий (личная любовь), но близкий нам. Иногда молился с нами. Я его люблю с нежностью. 1906-1907 гг.

Отношения с людьми неровно слагались. Я тянула к русским революционерам (чуялась нужда в их общественности, что-то чуялось в людях тут) — с французами — трудно. Узнавали их — но они чуждые.

Боря после Рождества был болен, потом уехал.

Дмитрий читал первую лекцию, — мою статью о «насилии» 15). 1907 г.

Потом Дима свою — о Горьком.

После Дмитрия — мою «Что такое самодержавие» 16), о которой сначала мы много спорили. 1907 г.

У нас уже были и друзья, — но внешние.

Пасху мы встретили дома, хорошо очень. Отдельная служба.

В Петербурге не очень ладилось. Тата одна родная.

В Июле уехали в Германию. В горы, потом в Баден, потом в Гамбург. 1907 г.

И вот вторая зима парижская наступила. На митинге, куда поехали случайно почти, мы встретили милого Фондаминского (17). 1907-1908 гг.

Сошлись с ним, с его друзьями.

Осенью 1907 г. Дмитрий пережил любовь (голубая). Нежно полюбил Марусю, милую юную русскую барышню. И она им «увлеклась». Мать — ужасная баба. Увезла ее. А весной привезла невестой чьей-то. Дмитрий не захотел ее видеть.

У меня с Димой выработались удивительные отношения. Последнее время мы только все раздражены. А то все мы очень изменились и срослись.

Последнее время нас мучил Бердяев... в Париже.

(Окончание следует)

Зинаида Гиппиус

ПРИМЕЧАНИЯ

5) Поликсена Сергеевна Соловьева (псевдоним *Allegro*) (1867-1924) — сестра Владимира Соловьева, поэтесса и писательница коротких рассказов. Печаталась в литературных альманахах **Наши Дни**, **Южный Альманах** и др. Автор сборников стихотворений **Последние стихи** (Москва, 1923), **Волшебная дудочка** (для детей) и др. Незадолго до Первой мировой войны, вместе с Натальей Ивановной Манасеиной, женой московского доктора М. П. Манасеина, издавала детский журнал **Тропинка** (1906-1913), имевший в те времена большой успех в СПб. Была большой приятельницей З. Н. Гиппиус. Познакомились они в середине 90-х гг., когда Поликсена переехала на жительство из Москвы в Петербург. Их дружба продолжалась до самой смерти Поликсены в одной из московских больниц в 1924 году, откуда она написала свое последнее письмо Гиппиус, в то время проживавшей уже в Париже.

6) Анна Павловна Философова (1837-1912), урожденная Дягилева, мать Д. В. Философова. Общественная деятельница, стоявшая в центре женского движения в России второй половины девятнадцатого и начала двадцатого веков. Лично была знакома с Достоевским, Валентином Серовым, Чайковским, Менделеевым, Мережковскими и многими другими выдающимися деятелями русской культуры. Вместе с М. В. Трубниковой (дочерью декабриста Ивашева) и Н. Н. Стасовой (дочерью придворного архитектора), А. П. Философова создала в СПб. Женское книгоиздательство-артель, которое печатало книги для открытых учебных заведений. Была председателем Комитета по организации в СПб. частного женского университета. Этот Комитет, основанный в октябре 1863 г., включал Менделеева, Бестужева, Сеченова и других. Лекции на Владимирских женских курсах начались 30 янв. 1872 г. Философова вела личную переписку с Тургеневым и Достоевским, и оба писателя посещали ее в ее петербургском салоне. В 1899 г. в Лондоне она была избра-

на Вицепрезидентом Международного женского совета; участвовала в Женской конференции в Женеве в 1903 г.

7) Журнал Мережковских **Новый путь** (1903-1904), переименованный в 1905 г. в **Вопросы жизни**. В **Новом пути** принимали участие П. П. Перцов (главный редактор журнала), Е. А. Егоров (секретарь), писали Гиппиус, Мережковский, Блок, Владимир Пестовский (позже писавший под псевдонимом Владимир Пяст), Леонид Семенов, Минский, Сергей Сергеев-Ценский, Розанов, Вячеслав Иванов, Ф. Сологуб, Брюсов, а также Евгений Лундберг (критик), П. А. Флоренский, Карташев и Успенский (молодые профессора Духовной Академии в СПб) и многие другие.

8) Религиозно-философские соорания (1901-1903) в СПб., основанные по инициативе Мережковских и разрешенные К. П. Победоносцевым. См. о Религиозно-философских собраниях в книге З. Н. Гиппиус **Дмитрий Мережковский** (Париж : УМСА-Press, 1951); в ее статьях « Первая встреча », **Последние новости** (Париж, 1931), №№ 3784 и 3786, и « Слова и люди », **Последние новости** (Париж, 1932), №№ 4083, 4091 и 4097; « Правда о земле », **Мосты** (Мюнхен, 1961), № 7, стр. 300-326; в статье С. Маковского « Русский символизм и Религиозно-философские собрания », **Русская мысль** (Париж, 1957), №№ 1124 и 1125.

9) Михаил Осипович Меньшиков (1859-1918), публицист и критик, один из руководящих сотрудников газеты **Новое время**.

10) Татьяна Николаевна Гиппиус (1877-1945?), одна из сестер З. Н. Кончила Художественную академию в СПб., преподавала живопись на Курсах им. Шидловского в СПб. (1911-1917), где осталась жить и после революции.

11) Наталья Николаевна Гиппиус (1880-1945?), младшая сестра З. Н. Кончила Художественную академию в СПб. по отделению скульптуры. После революции осталась жить в СПб., где продолжала заниматься скульптурой.

12) Анна Николаевна Гиппиус (1872-1942), сестра З. Н., врач по образованию, глубоко религиозный человек; автор книги **Святой Тихон Задонский** (Париж, 1927). После революции эмигрировала в Париж.

13) Серафима Павловна Ремизова, урожденная Довгелло. Ее мать, урожденная Самойлович, происходила из рода гетманов. В юности С. П. Довгелло принимала участие в революционной деятельности, за что была выслана в Вологодскую губернию, где встретила с А. М. Ремизовым и вышла за него замуж. По возвращении в СПб. вошла в один из « периферийных » религиозных кружков Мережковских. Будучи по своей природе глубоко религиозным человеком, С. П. Ремизова была очень привязана к Гиппиус. Их дружба продолжалась и в Париже, где С. П. преподавала русскую палеографию в « Ecole des Langues Orientales ».

14) Николай Кузнецов, адвокат по образованию, автор нескольких книг по церковным реформам, напр., **Вопрос церковных реформ** (Москва, 1907). Близкий друг Натальи Николаевны Гиппиус в начале века.

15) См. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Филофоров, **Le Tsar et la Révolution** (Париж, 1907).

16) Там же.

17) Илья Исидорович Бунаков-Фондаминский (1880-1942), близкий друг Мережковских, редактор журнала **Современные записки** (1920-1940), автор многих статей религиозного характера. Став православным, основал в Париже журнал **Новый град** (1931-1939) вместе с Г. П. Федотовым.

Преломление идей от Соловьева к Розанову через Дягилева

Посвящается М. Е. Архангельскому

26 февраля 1900 года в зале Петербургской Думы была публично прочитана Владимиром Соловьевым его «Краткая Повесть об Антихристе», напечатанная в мае того же года в отдельном издании «Трех Разговоров». Присутствовавший на докладе В. В. Розанов послал о нем свой обзор в редакцию журнала «Мир Искусства». В неизданном письме Дягилева, хранящемся в Москве, в архиве библиотеки имени Ленина, высказывается целый ряд интересных мыслей и замечаний по поводу присланной Розановым рукописи, позволяющих оценить по достоинству личность Дягилева как редактора и увидеть его в совершенно особом освещении.

Мне придется подробно остановиться на повести Соловьева как исходной точке, лежащей в основе скречивания мировосприятия талантливейших людей России начала XX века, для восстановления полной картины приводимого ниже обмена мнений. В «Краткой Повести об Антрихристе» Соловьев в литературной обработке излагает свои прогнозы о конце истории человечества, времени осуществления последних пророчеств, наступлении эсхатологической судьбы мира, пришествии Антихриста, о его земном владычестве и следующей за этим гибели в огненном кратере вулкана разверзающегося под Мертвым морем и о воцарении на тысячу лет Христа, окруженного, во всей Своей славе, воскресшими из мертвых верующими...

Последняя стадия истории человечества произойдет в XX веке, будучи предшествуема игом панмонголизма. Китай, Манчжурия, Монголия и Тибет под эгидой Японии образуют обновленную империю и, вытеснив всех европейцев за пределы Срединной империи и всего Индокитая, монголы двинут свои полчища на Европу. Сосредоточенная ими в Китайском Туркестане четырехмиллионная армия вторгнется в Среднюю Азию и через Урал проникнет в восточную и центральную Россию. Стремительность нападения не позволит создать сопротивления для преграждения пути монгольскому нашествию. Та же участь постигнет Германию и Францию, после России. Вме-

сто того чтобы объединиться против нависшей угрозы, европейские государства распьют свои силы в политических распрях и партийных несогласиях. Одной только Англии удастся откупиться миллиардами фунтов стерлингов... Полвека продолжится монгольское владычество над всем миром с повторением Александрийского синкретизма. Наконец, разрозненные нации создадут тайные общественные организации, в результате международных усилий вспыхнут одновременно повсеместные восстания, которые приведут к полному истреблению монгольских солдат и рабочих, наводнивших Европу.

После этого освобождения, человечество вступит в новую фазу, окончательно отказавшись от прежних философских и научных теорий. С этого времени замечается « решительное падение теоретического материализма » и категорически отвергается « представление о вселенной как о системе пляшущих атомов и о жизни как результате механического накопления мельчайших изменений вещества »...

И вот, наконец, в XXI веке появится новый мыслитель, писатель и общественный деятель, которого многие примут за сверхчеловека, прельщенные наличием его « исключительной гениальности, красоты и благородства, высочайшего проявления воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности », которые сверхчеловек и сам сознает в себе и которые « достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа ». Хотя он и не отрицал ни добра, ни Бога, ни Мессии, но полон был лишь любви к самому себе, оставаясь, таким образом, как « медь звенящая, или кимвал звучащий », согласно определению Апостола Павла данному в 1-м Послании к Коринфянам (гл. XIII ст. 1). Однако Соловьев избегает приводить цитаты из Священного Писания для характеристики образа и деятельности антипода Христа, пользуясь сознательно методом доказательства от противного. Его сверхчеловек, под личиной благодетеля рода человеческого, противопоставлен самой сути евангельского и апостольского учения. Он внедряет в мир соблазн через посредство земных благ и растлевают дух подменой обещанного вечного блаженства иллюзорным дарованием кратковременного благополучия.

Сверхчеловек считает себя избранныком Божиим, имеющим преимущество над всеми смертными, не исключая и самого Христа, Которого он воспринимает лишь как своего предтечу. В самоупоении он мечтает облагодетельствовать всё человечество, и тех, которые преображены словом Божиим, и тех, которые остались неисправимы. Он хочет сиять как солнце без разбора над злыми и добрыми, расточая дары как из рога изобилия. Но бесплодное упоение собственным совершенством на-

рушается вкрадшимися сомнениями. Его, наконец, пронзает мысль, — что, если « настоящий, первый и последний » — это не он, а Христос. Терзаясь завистью и охваченный ненавистью, он в ярости восклицает : « Я, я, а не Он ! ». В тоске и отчаянии от сознания, что Христос может испытывать к его притязаниям одно лишь чувство жалости, сверхчеловек в порыве предельной гордости бросается с обрыва в пропасть...

Внезапно очнувшись, он видит перед собой светящуюся фигуру, чувствует на себе острый взгляд пронизывающих нас сквозь глаз, слышит обращенный к нему глухой, металлический голос : сын мой возлюбленный...

Я бог и отец твой...

Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он родит тебя в силе...

Возвращенный на землю, сверхчеловек воплощает всю силу своего темного гения в создание нового философско-научного труда, озаглавив его « Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию », которым всеобъемлюще разрешает все существующие противоречия.

Это беспримерное произведение переводится на все языки и распространяется в миллионах экземпляров, как « откровение всецелой правды ».

На экстренном заседании международного учредительного собрания — « Comité Permanent Universel » — учреждается единоличная исполнительная власть и вручается единогласно избранному в « пожизненные президенты европейских соединенных штатов » с присвоением ему титула римского императора — негласному члену ордена масонского братства и крупному капиталисту — сверхчеловеку — спиритуалисту.

По прошествии года своего властвования великий избранник обращается ко всем народам с манифестом, перифразирующим изречение Христа : « Народы земли ! Я обещал вам мир, и я дал вам его ». — За этот год была с корнем вырвана угроза войны и даже закрыта за ненадобностью лига мира; после чего началась эпоха социальных реформ. « Равенство всеобщей сытости » обеспечивало прожиточный минимум и вознаграждало каждого согласно затрате труда и степени заслуг. Сердобольный владыка мира отменил даже вивисекцию и установил строгий надзор над бойнями.

На четвертый же год своего правления император созывает, наконец, в Иерусалиме Вселенский Собор (в составе трех тысяч человек) под своим высочайшим председательством. Сохраняя прежнюю церковную иерархию, он требует только, чтобы его признали единственным заступником и покровителем Церкви, о чем и извещает собравшихся в пространной речи...

Первый с ответом императору выступает предстоятель православной Церкви — старец Иоанн : « Всего дороже для нас в христианстве Сам Христос, — Он Сам, а от Него всё, ибо мы знаем, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно »...

И видя, как от дальнейших слов его, призывающих императора открыто исповедать с любовью Христа : « во плоти пришедшего, воскресшего и паки грядущего », — стало от судороги корчиться в адской ярости лицо председателя собора, блаженный старец успел лишь крикнуть « Детушки, антихрист », как его напавал убил удар блеснувшей внезапно молнии.

За ним взял слово Римский Папа Петр II и предал императора, как сына Сатаны, анафеме. Но и его постигла та же участь, что и старца Иоанна... Тогда профессор Паули, возглавлявший протестантов, пригласил оставшихся верующих прекратить всякое общение с антихристом и удалиться в пустыню.

Тела же убитых, по приказанию императора, были для надзидания выставлены напоказ у храма Гроба Господня. На смену умершему Папе тут же избрали епископа Аполлония, чернокнижника, ближайшего сотрудника императора, после чего священная коллегия на конклаве подписала акт единения церкви и государства.

Только на четвертый день профессор Паули вернулся с товарищами за телами покойных и увез их ночью в пустыню, где совершилось над ними чудо воскресения из мертвых. И было им явлено знамение на небе, которое двинулось к горе Синаю и за ним последовали верующие, предводимые тремя старцами. Это была « Жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд ». Оставшиеся же с антихристом стали предаваться демонолатрии. Император умышленно распространил слухи о своем намерении установить вселенское владычество Израиля, благодаря чему и был признан вернувшимися в Палестину евреями как их Мессия. Но они разгорелись гневом и мезтью, когда случайно обнаружилось, что над ним не был совершен обряд обрезания... Движимые вековечной мессианской верой все евреи поднялись против самозванца. Началось кровопролитное единоборство. Император с несметным войском язычников двинулся на евреев, но огненная лава открывшегося вулкана поглотила всю рать антихриста в пучине Мертвого моря.

Тогда разверзлись небеса и Христос сошел на землю, в царских одеждах, и воцарился на тысячу лет.

В 1970 году эта повесть Соловьева созвучнее нашей эпохе, чем она была людям, ознакомившимся с ней впервые в 1900 году, когда она была написана. Теперь легче воспринимать смысл идеи Соловьева, как и предчувствие будущих событий: реальность нависшей угрозы со стороны Китая, проблему единения Церквей, возврат евреев в Палестину, Соединенные Штаты Европы, соблазн спиритуалистической философии.

Розанов же и Дягилев отнеслись к ней с иной точки зрения, рассматривая христианство согласно своему собственному складу мышления.

Только в ноябре месяце 1900 г. за подписью В. Розанова была напечатана в отделе художественной хроники «Мира Искусства» статья под названием «К лекции г. Вл. Соловьева» (стр. 192-195).

Весьма сумбурно Розанов оппонирует Соловьеву, находя название «Краткой Повести об Антихристе» несоответствующим ее содержанию, ибо «таинственная сага» (...) «и есть та тема так прозаично и, можно сказать, бульварно прочитанной лекции Соловьева».

Свою критику Розанов начинает с упрека, мотивированного недостаточной контрастностью образов Христа и Антихриста, без ясного разграничения и указания: «где они разделяются и почему разделяются». Наделенный милосердием, бескорыстьем, благородством и отсутствием всех земных страстей, антихрист Соловьева скорее подражает Христу, в чем, мол, и превосходит всех людей, становясь «самым удачным из христиан».

Будучи в основе несогласным с автором «Краткой Повести», Розанов предлагает свое собственное понимание и толкование «таинственной саги» и делает из своих предпосылок соответствующие выводы. Развивая логически свою мысль, он обосновывает дальнейшие рассуждения на том, что если христианство есть день, то, следовательно, существует и ночь, как антипод дня. На одном полюсе День — Христос, на другом — Ночь — антихрист, как нечто несомещающееся и равнобожественное. Ибо ночь вызывает, хотя и противоположные, но равные по силе: умиление, молитвы и восторг, — которые Розанов старается объяснить тем, что «есть категории слез, кротости и прямо любви к богу, которые не относятся к Распятому при Понтийском Пилате», — они обращены, сознательно или нет, к духу ночи, мистицизм которого покоряет с наименьшей силой своей тайной прелестью. И он берет на себя смелость утверждать, что: «всё время существования Европы, кроме Дня Христа, была какая-то «Ночь» — бог, к которой обращена вся (курсив мой — В. М.) европейская поэзия

и живопись» и что так слабо и будто бы плохо осветил Соловьев в своей повести.

Приведя в доказательство своим утверждениям, как факт, что во все века наблюдался полный разрыв чистой поэзии и Евангелия, Розанов приходит к парадоксальной гипотезе отрицания поэзии Средних веков, характеризовавшихся, будто бы, одной только бездушной поэзией Камня (архитектура — готика) и поэзией вымышленного и несбыточного, как сказание о Святом Граале, а не поэзией к бытию и факту. Лирическое же творчество трубадуров, пропитанное уже живыми земными чувствами и отношениями, привело к крестовым походам, что в корне пресекло веселую лиру его певцов.

Переходя к религиозному живописному искусству итальянской, голландской и испанской школ Эрмитажа, Розанов видит в нем полное отрицание Распятого Бога и считает, что на эти произведения искусства не только нельзя молиться, но даже внести их в церковь нельзя. Если же великие мастера, создавая религиозные картины, и обращались к ним мысленно с молитвой, то, очевидно, этот порыв души был направлен к « богу » с маленькой буквы, раз им нет места в церкви. Савонарола сжигает картины, а католические исповедники запрещают чтение романов и стихов, несмотря на то, что в них выражены чувства умиления, нежности и доброты. Из чего Розанов заключает, что, значит, все эти чувства вдохновлены « вторым добром » и другим богом.

Заменяя в отдельных строфах стихотворений Лермонтова слово « Бог » с большой буквы словом « бог » с маленькой, Розанов приписывает Лермонтову чувство только другого бога, которого поэт воспевал в начале своего творческого пути в образе Демона и лишь развивая ту же тему, заменил его наименованием « бог ». Основание к подобному роду толкования Лермонтовской поэзии Розанов находит в том, что поэт не мог иметь в виду Распятого Христа, когда писал :

« И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога ».

В свою очередь, по мнению Розанова, и все « первые солнца европейской поэзии » чужды христианской мистике. И это « заснутие христианства » (заснуть — забыть) относится и к гению Шекспира, и Гете и Шиллера. А в « Потерянном Рае » Мильтона, как в « Демоне » Лермонтова, яростно и обаятелен лишь Сатана.

Но раз всё их творчество пропитано бесконечной любовью ко всему земному, то, следовательно, они находятся в прямом несогласии с христианским отношением к жизни и остаются вне « царства Его », — так как не следуют данному людям за-

вету : « если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником » (от Луки 14,26). И все любящие своих жен — Дездемон и дочерей — Офелий пребывают в сфере анти-христовой. Сам Розанов предпочел бы остаться с антихристом, чем бросить на произвол судьбы покинутую Гретхен « Фауста », объясняя свой выбор, в значительной части своей статьи, органической невозможностью подчиниться противоестественной для человеческого сознания жестокости : « Просто есть пункты и секунды, и притом вовсе не случайные, а вечные (принципиальные), когда бедное мое земное, а пожалуй даже и небесное « я » принуждается, — и принуждается совестью и законом ее, — последовать не « царству не от мира сего », но « царству мира сего », открывая в нашем « я » разделение Дня — Ночи ».

**
*

В парадоксах Розанов есть неувязки, они, как и все силлогизмы вообще, могут быть построены на иных предпосылках и привести к совершенно обратным выводам. Так например, иное решение проблемы отношения к Христу дано хотя бы тем же Достоевским, который « принуждается совестью и законом ее — последовать » именно за Христом даже и в том случае, если ему научно и неоспоримо докажут, что истина лежит вне Христа.

От статьи Розанова остается то неприятное впечатление, что он свои собственные чувства к « Распятому при Понтийском Пилате » старается оправдать ссылками на всё европейское искусство.

Моноидеизм Розанова вытекает из отрицания христианства, как религии Голгофы и смерти, отравившей радость бытия, и из восприятия юдаизма и язычества, как религий апофеоза жизни.

Тогда как для Соловьева христианство есть религия Воскресения и жизни вечной.

Дягилев сразу почувствовал всю шаткость позиции Розанова и возражал ему в своем письме с полным знанием европейского искусства. Во время своих путешествий Дягилев подробно ознакомился и на месте изучил сокровища музеев и церквей Италии, Франции и Германии и был гораздо более осведомлен о неиссякаемом богатстве поэзии Средних веков.

22 апреля 1900 года Дягилев пишет Розанову :

« Добрейший Василий Васильевич! По поводу статьи Вашей об лекции Вл. Соловьева считаю нужным написать Вам

два слова. Находя, в общем, названную заметку в высшей степени интересной, значительной и глубокой (как, впрочем, всё, что Вы пишете), должен сказать, что с некоторыми ее положениями я в корне не согласен и очень хотелось бы выслушать Ваше разъяснение. Во-первых, я совершенно не согласен с Вашим отношением к искусству всех средних веков, а этот пункт совсем немаловажен для затронутого Вами вопроса и, может быть, единственный, который может даже и опровергнуть Ваше «заснутие христианства». Вы приводите в доказательство отсутствие поэзии в средние века. Мне кажется, что тут не уловлен главный смысл средневековья.

« — Это в средние-то века не было поэзии! —

« Средние века как бы пропитаны духом жизненной поэзии, это, может быть, самый чудный цветок человеческого гения. И дело тут вовсе не в трубадурах: — эпоха «Парсивалей» с их «Граалем», «Романом Роз», проникновеннейшей, настоящей поэзии здесь, — при *всем своем величии*, — затемняется тем грандиозным искусством, которое есть *фатальное* дитя средних веков и только их, — *готикой*. Как можно говорить об отсутствии поэзии в эпоху, создавшую всё, чем мы теперь живем, что есть *единственно абсолютное* в наше расшатанное время.

« Тут возникает и другой вопрос; говоря о «религиозном» (церковном) искусстве, Вы опять забыли те же средние века. Зачем Вы берете Эрмитаж и развратного Рафаэля; отчего же не взять Сан-Марко и Фра Беато, — и Ваше оружие обращается против Вас. Что может быть молитвеннее, именно молитвеннее, келий и двора Сан-Марко и почему весь *ранний* Ренессанс, частью Византизм, словом — все средневековье, не есть ли служение именно христианскому, милосердному Богу — мученику?

« В Чимабуе, в Джиотто, в Беато, в (... неразборчиво), в Майнцком и Страсбургском Соборах Вы едва ли найдете олимпизм и ясность языческого бога. Впрочем, у меня нет философской складки ума, — « *здесь пусть спорят мудрые!* »

« С другой же стороны, опять не согласен с Вами: Вы говорите, что Эрмитаж нельзя перенести в христианскую церковь. Тут дело не в христианстве, Вы хотите сказать, что Эрмитаж не вяжется лишь с *Православием*? Как же все храмы Европы наполнены именно *таким искусством*? Вспомните Микель-Анжело в Риме, или Ван-Дейка в каждой бельгийской церкви. Да, наконец, наши Казанские, Исааковские соборы, Храм Спасителя в Москве, — разве это не «эрмитажный дух» — они *христианские*, и даже *православные* люди идут к «Казанской Бож. Матери». Потом, к чему Вы после Гёте, Шекспи-

ра и Мильтона режете глаз и слух Алексеем Толстым. Ну, это, конечно, пустяки! — Прошу также разрешения подписать статью, ее по слогу всё равно *всякий* узнает и наш секрет — секрет полишинеля.

« Итак, думаю, что лучше уж средние века оставить и в пример не приводить. Ведь более высокого искусства еще не создал человеческий род.

« Жму Вашу руку.

Сергей Дягилев

P.S. — « Сообщите также, пожалуйста, *точно* откуда Вы взяли цитату : — « Кто ради Меня не оставит отца и мать, и жену... и не возненавидит самую жизнь свою — не есть Меня достоин ».

« Очень удивительная мысль! — »

**
*
*

Возвращаясь к « Краткой Повести об Антихристе » нужно подчеркнуть, что построена она совсем не на тему Дня и Ночи, а на всем известных текстах из Евангелия об антихристе, где говорится, что : « восстанут лже-христы и лже-пророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных » (от Марка 13,22). Этим вполне объясняется отсутствие контрастов между образами Христа и антихриста, и хотя Соловьев не приводит цитаты « царство Мое не от мира сего », но вся созидательная деятельность антихриста на земле всецело зиждется на его неотъемлемой принадлежности именно к миру сему и ни к чему более. Розанов не мог не понимать такой простой вещи.

Замена же им в стихах Лермонтова слова « Бог » словом « бог » с маленькой буквы — не что иное как типичный софистический прием, и только. Никто не станет отрицать, что Творца всей вселенной, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого вполне может ощутить любой человек в своем упоении бытия, без всякой мысли в тот момент о Голгофе. Христианское же искусство представляют и такие « первые Солнца европейской поэзии », как : Данте, Паскаль, перу которого принадлежит « Le Mystère de Jésus »; « Le Cantique spirituel » Saint Jean de la Croix; « Ballade pour prier Notre-Dame » Вийона; « Le Mont des Oliviers » Альфреда де Виньи; « Le Crucifix » Ламартина; « Les Tragiques » Агриппы д'Обинье, — не говоря уже об авторах XV века Арнульде Гребане и Жане Мишеле, передавших в « Le Vrai Mystère de la Passion » всю

трепетность любви Богоматери к Своему Сыну и Его сострадание к Ее скорби о Его судьбе.

Не более бедна и русская литература христианскими темами высочайшего духовного порыва. Стоит только упомянуть: « Легенду о Великом Инквизиторе » Достоевского, « Отцы пустынники и жены непорочны » Пушкина, « Ангел » Лермонтова, всю поэзию Хомякова, « Размышления о Божественной Литургии » Гоголя, Лукерью « Живых Мощей » Тургенева, чтобы опровергнуть утверждения Розанова.

В религиозной же европейской живописи, которая была создана на сюжеты заимствованные из Священного Писания и апокрифов, лучшие мастера кисти воспроизвели в своем творчестве все моменты жизни и смерти Христа от Его рождения, поклонения волхвов, бегства в Египет, избияния младенцев, от явленных Им чудес до моления о Чаше, Страстей Господних, снятия со креста, положения во гроб, сошествия во ад, до Его воскресения, сошествия Святого Духа на Апостолов и Страшного Суда. Все эти религиозные произведения искусства созвучны романским и готическим храмам, для которых они были исполнены и которые они украшали с таким блеском.

Непостижимая человеческому уму мудрость Евангелия в том и заключается, что « невозможное человекам возможно Богу » (от Луки 18,26) и в нем для каждого отдельного случая дан исчерпывающий ответ, а не один ответ на все случаи, который мыслители возводят в философскую систему, снижая божественное, вечное бытие до уровня человеческого мирвосприятия.

В. Маркадэ



Исправление опечаток

В номере 218 « Возрождения » в письме в редакцию В. Маркадэ, следует читать :

на стр. 139, в 12-й строке снизу, « имажинистами » (вместо « импрессионистами »);

на стр. 140, в 20-й строке сверху, « хасидизма » (вместо « хасизма »).

СУВОРОВ

Писавшему его портрет художнику, Суворов сказал : « Ваша кисть изобразит черты лица моего, они видны, но внутренне человечество мое скрыто ».

С тех пор, люди не общавшиеся лично с Суворовым судили о нем по внешнему облику и отчасти по его делам. Великий полководец, но чудака и кривляка, пожалуй, просто полусумасшедший. Безусловно храбрый и почему-то всегда победитель. Не инстинкт ли тут и постоянное везение?

Суворов не был писателем и кроме « Науки побеждать » ничего после себя не оставил. Его « внутреннее человечество » оставалось загадкой. Клаузевиц пытался было разобрать « Науку побеждать », с недоумением повел плечами и изрек : « это какая-то галиматья ».

Таким Суворов и остался в понимании иностранцев до нашего времени. Недавно в одном из бесчисленных исторических журналов Парижа, академик Поль Моран написал большую статью о русском полководце. Редакция журнала горячо приветствовала почтенного автора, создавшего, по ее мнению, исключительной яркости портрет Суворова.

Следует отдать справедливость П. Морану. О Суворове он пишет с симпатией, отмечает его качества как человека, называет его непобедимым полководцем, цитирует его фразы, очень распространяется о его чудачествах, но о главном, о нутре Суворова, о сущности его « Науки » — ни слова.

Не даром, видно, Суворов недолюбливал академиков.

Да и русским, потомкам его « чудобогатырей », понять его было долгое время не по плечу. Сто лет, из его стройной и гениальной системы, помнили только фразу « Пуля дура — штык молодец » и давая ей ложное толкование, мостили поля сражений телами солдат и обильно поливали их лишней кровью. Тщетно задавал себе вопрос Император Николай Павлович : « Почему при Суворове мы легко били врага сражаясь один против двух, а теперь не можем победить и с двойным превосходством в силах? »

Если Суворов не был писателем — он был учителем. Он пользовался каждым случаем чтобы передавать свои мысли офицерам и солдатам, так как считал, что « каждый воин должен понимать свой маневр ».

Язык его — своеобразный, сжатый, картинный и простонародный. Любил он прибаутки и пословицы и его понимали с

пол-слова. Каждое его слово глубоко западало в солдатские души. Тем же, кто подтрунивал над ним за его стремление открыть основы военной науки простым мужикам, он отвечал : « Тот, кто не верит в человека, не достоин предводительствовать людьми ».

« Суворов это соль земли русской, писал ген. Елчанинов, это человек всякое слово которого и теперь живит и бодрит русскую душу ».

« Нужно ли распространяться, пишет один из его исследователей, о причинах непобедимости войск Суворова? Последний солдат, из попавших в сферу его влияния, узнавал и практически и теоретически боевое дело лучше, чем теперь его знают в любой европейской армии в мирное время, не исключая самых образованных ».

Не задолго до своей смерти, Суворов сказал : « И сказано ему (солдату) было, что более ему ничего знать не оставалось. Только бы выученное не забыл. Так был он на себя надежен, основание храбрости ».

По смерти фельдмаршала, пошедшая по прусской дороге армия забыла « Науку побеждать » своего гениального полководца, но в памяти народа он продолжал жить.

Можно сказать, что образ его всегда жил и живет в России.

В 1943 г. советский писатель Пигарев писал :

« В эти года величайшей мировой войны, не случайно наши взоры обращаются к дымке XVIII-го века, из которой встает героический образ великого русского солдата. Оправдываются слова Гоголя. Мертвые принимают участие в наших делах и действуют вместе с нами.

« В традициях нашего народа воскресает Суворов. « Вся твоя жизнь — открытая книга, которая подает пример », сказал о нем поэт Дмитриев. Эта книга открыта перед нами. Мы никогда не утомимся ее читать. Пример Суворова блещит в наши дни, как факел. Его мудрое учение, его завещание, пережили его эпоху и чрез головы поколений обращаются к нам, его отдаленным потомкам. И каждый из нас должен себе сказать : иди по стопам Суворова ».

Суворов исключительное явление не только русской, но и мировой истории. Среди плеяды вождей, пожалуй он один сумел не только точно выявить вечные основы военного искусства, но и воплотить их в жизнь и передать их своим бойцам.

Писать о нем теперь немного претенциозно. Его личности посвящены десятки томов работ величайших русских военных писателей, и всё-таки, иногда кажется, что не всё еще о нем сказано. Каждое слово Суворова полноценное золото и не всё еще отгадано в его бессмертных поучениях.

В 1769 г., только что откомандовав Суздальским полком, двести лет тому назад, Суворов выступил в свой первый самостоятельный поход в Польшу. К этой годовщине, да позволят нам вкратце привести соль его поучения. Нам кажется, что каждый военный приобщившийся к его «Науке» многим, очень многим ему обязан. Недаром, как писал принц де-Линь, при жизни, Суворов был кумиром военных всех стран.

Жизнь Суворова — пример страстного военного призвания. «Я солдат, только солдат, не знаю ни племени, ни роду», говорил он.

В 1745 г., сломив сопротивление своего отца, он поступает в Семеновский полк. Два года он служит простым солдатом и четыре года капралом. Эти шесть лет позволяют ему познать и изучить в совершенстве русского солдата, того, кому он раньше всего будет обязан своими победами.

И поняв солдата и полюбив его, он легко найдет дорогу к его сердцу.

Широко и всесторонне образованный, обладающий большим и острым умом, непреклонной волей, он кипит энергией. Спартанец в душе, прямой до резкости, он всегда весел и бодр. Храбрость его кажется безрассудной («я научился не бояться смерти»). Его речь пряма и лаконична. Он презирует внешние условности света. Его чудачества это раньше всего протест против лицемерия, эгоизма, чванливости и пустоты окружающего его общества.

Чувствует он себя хорошо только в кругу своих солдат, среди которых обаяние его не имеет предела. В его войсках пели :

« Рады до конца стараться,
Рады с миром целым драться,
Рады умирать с тобой... »

И, как отголосок его «Науки побеждать» :

« Сила войска не в громадах,
Не в воинственных нарядах,
Сила в духе и сердцах ».

Суворов всегда был подчиненным. Почти все его победы были одержаны благодаря его предприимчивости и настойчивости, инициативе вырванной от начальников. И всётаки, только он для всех русских навеки остается богом их ратей.

« И теперь, когда на битву
Русские полки идут,

Он за них творит молитву,
Про него они поют ».

Гений Суворова сложился под влиянием классиков военной истории. Он убежден, что только внимательное и вдумчивое изучение кампаний дает ключ для открытия причин побед великих полководцев. « Тактика без военной истории — потемки », говорит он.

Его учителем был раньше всего Цезарь. Его « Комментарии » всегда находились при нем. Вторым наставником его был Великий Петр. « Всю жизнь носил я кокарду Петра Великого ».

Богатство его боевого опыта позволило ему проверить на деле свои выводы и его 63 победы, одержанные часто против сильнейшего неприятеля, принесли блестящее подтверждение принципам его школы. Но Суворов не был писателем. После его смерти осталась только его « Наука побеждать ». Потребовалось около ста лет, чтобы собрать его письма, наставления и приказы. Его « Суздальское Учреждение », написанное в 1764 г., было уничтожено и забыто. Только в 1938 г. был отыскан один экземпляр этого величайшего по своему значению произведения, зафиксировавшего опыт вынесенный Суворовым из Семилетней Войны и из командования Суздальским полком.

Мысли Суворова о войне четки и определены.

Война величайшее зло, но увы неизбежное. « Я проливал кровь ручьями. Содрагаюсь, но люблю моего ближнего. Во всю жизнь никого не сделал несчастным. Ни одного смертного приговора не подписал, ни одно насекомое не погибло от моей руки ».

Первая цель, которую должен себе ставить полководец, это сократить войну. После своей молниеносной кампании 1794 г. он пишет :

« Миротлюбивые фельдмаршалы при начале польской кампании проводили все время в заготовлении магазинов. Их план был воевать три года против возмущившегося народа. Какое кровопролитие! Я пришел и победил. Одним ударом приобрел я мир и положил конец кровопролитию. Мир не стоит капли пролитой зря крови ».

Победа достигается только уничтожением живой силы противника. Только наступательная война позволяет быстро одержать победу. Наступательный дух пронизывает школу Суворова до того, что полководец изгоняет из своего лексикона всё, что может напоминать оборону или отступление. « Ретирата и дефенсив слова не переводимые на русский язык », пишет он.

В « Науке побеждать » он пишет : « Может ли начальник

спросить отступных плутонгов? Лучше о них и не помышлять : влияние их солдату весьма опасно, ниже о каких ретирадах в пехоте и кавалерии не мыслить ». « Шаг вперед, два, три — позволяю, один назад — смерть! »

Правда, это только прием воспитателя, так как Суворов раньше всего воспитатель. В действительности он допускает, что обстоятельства могут временно заставить обороняться, но только временно. При первой же возможности, надо взять инициативу в свои руки и перейти в наступление.

Лаконическая формула выражает доктрину Суворова : « Глазомер, Быстрота и Натиск ».

Глазомер это способность быстро и верно оценить обстановку, принять правильное решение, быстро подготовить операцию и, наконец, провести ее с наибольшими шансами на успех.

Для того, чтобы приобрести глазомер, надо упорно и ежедневно работать всю жизнь.

« Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и во всех случаях потребны, токмо тщетны они, если не будут истекать из искусства... Генералу необходимо непрерывное самообразование себя науками... нужна непрестанная наука из чтений... только непрерывное изощрение взгляда сделает полководцем ».

Кроме того он требует от полководца сильной воли — « Победи себя — будешь непобедим » — и развития умения « смотреть на дело в его целом », т. е. сразу вникать в сущность дела, не отвлекаясь мелочами.

« Непрестанное упражнение, как всё обнять одним взглядом, делает тебя великим полководцем », пишет он своему крестнику.

Это то, что впоследствии составит славу маршалу Фошу, его завет подходить к каждому делу с вопросом : « В чем суть дела? »

Быстрота. Чтобы сразу взять верх над неприятелем, надо его поразить внезапностью. Нанести удар, которого не ждет неприятель. « Удивить — победить », — поучает фельдмаршал.

Школа Суворова это раньше всего искусство достигнуть внезапности и застраховать от нее свои войска.

Внезапность достигается быстротой.

« Предупреждай своей скоростью... повелевай счастием, одна минута венчает победу, покоряя ее себе скоростью Цезаря ».

« Фортуна имеет голый затылок, а на лбу длинные висящие власы. Лёт ее молниен. Не схвати ее за власы — уже она не возвратится ».

« Неприятель не ждет, поет и веселится, а ты из за гор вы-

соких, из за лесов дремучих, через топи болота пади на него, как снег на голову. Ура! Бей! Коли, руби! Неприятель вполонину побежден. Не давай ему опомниться. Гони, доканчивай. Победа наша! У страха глаза велики ».

« На войне деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время всего дороже ».

Натиск. Это решительный акт сражения. Достойны победы только те войска, которые решили сойтись с врагом, в него вцепиться. Чтобы при этом удар получился как можно сильней, Суворов требует сбор сил к месту удара.

« Идешь бить неприятеля, умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации ».

Но превосходство в силах не обязательно. Можно нападать и один на четырех, если действуешь умело.

« Быстрота и внезапность заменяют число, натиски и удары решают битву. Воюют не числом, а умением ».

Вот вкратце существенные мысли Суворова о войне. Но не достаточно проникнуться ими. Надо еще уметь применять их на деле. Надо также располагать войсками, которые хотят и умеют драться. И Суворов создает стройную систему воспитания и обучения войск.

Первое в ней место он отдает человеку, личности бойца.

Для русского солдата необходима строгая дисциплина. « Да внушит нам Бог дисциплину, она мать победы ».

« В случае оплошности взыскивать и без наказания не оставлять, понеже ничто так людей к злу не приводит, как слабая команда ».

Не говорил ли Петр, что « слабый начальник готовит себе смерть и гроб Отечеству »?

Но одна дисциплина не достаточна. Абсолютной правды Суворов ищет в христианском воспитании.

« Солдату надлежит быть здорову, храбру, твердо, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу. От Него победа. Чудобогатыри! Бог нас водит! Он наш генерал! »

И в жестокое ремесло войны, он хочет внести человечность :

« Давай пощаду. Грех напрасно убивать. Обывателя не обижай, солдат не разбойник. В дома не ходи. Неприятель сдался — пощада ».

« Победителю прилично великодушие. Бегущий неприятель охотно принимает пардон. Смерть или плен — всё одно ».

Вместе с тем он хочет передать солдатам свою гордость быть русским. « Помилуй Бог, мы русские. Горжусь, что я русский! »

« У неприятеля те же руки да русского штыка не знает ».

« Ты русский, говорит он Милорадовичу, ты знаешь трех сестер: Веру, Надежду и Любовь. С ними слава и победа. С ними Бог! »

И Суворов хочет внушить войскам беспредельную преданность к религии и родине. Достойны победы только те войска, которых воодушевляет высокий идеал. Геройство войск вызывает только возвышенная цель. И побеждает только тот, кто бесповоротно решил победить или умереть.

« Нет опаснее отчаянных, а мои войска всегда дерутся отчаянными ».

После воспитания следует обучение. Солидное обучение рождает уверенность в себе, а она рождает храбрость, которая ведет к победе. Будучи полным и всесторонним, обучение должно быть ограничено только тем, что необходимо на войне, и что должно быть познано в совершенстве. Лишнее, как достигаемое во вред существенному, должно быть отброшено.

Обучение должно быть практическим, « не рассказом, а показом », и проводиться всегда в условиях как можно больших напоминающих войну, даже ценой потерь.

И чтобы ничего из его принципов не оставалось в тени, он постоянно учит солдат. Надо, чтобы последний из них понял устои военного дела — только тогда война станет для него его личным делом. Суворов вырабатывает сознательного бойца, с развитием в нем чувства личной ответственности.

« Для Суворовского солдата, пишет ген. Драгомиров, не было неожиданности в бою, ибо он испытал в мирное время самые тяжелые из боевых впечатлений, не могло быть ничего непонятного из того, что делалось в бою, ибо обо всем военном деле он имел основательное теоретическое представление. А если человек выдержан так, что его ничем удивить невозможно, если он при этом знает, что делает в своей скромной сфере, — он не может быть побежден, он не может не победить ».

« Я воспитываю и учу, сказал Суворов, в этом секрет моих побед ».

Суворов доказал на деле, что для войск им воспитанных не было ничего невозможного. Недаром говорил он, что на войне нет ничего невозможного.

Благодаря неустанной тренировке, его войска совершали то, что другим казалось невероятным. Вместо 20-и верст в день, что в его время считалось нормальным переходом, они легко проделывали 60. Естественным путем, на которых их ждал враг, они предпочитали непроходимые тропы, легко переправлялись они через широкие реки, бросались на штурм будто бы неприступных крепостей, проходили легко дремучие леса, ата-

ковали темной ночью, достигали внезапности и всегда торжествовали.

Суворов был враг формализма и догматизма, предвзятых идей и готовых рецептов победы. Для него не было незыблемых правил тактики. Его тактика постоянно менялась, применяясь к обстановке и к врагу. Всё было вопросом здравого смысла и он надсмехался над теми, кто искал секрет побед не в духе, а в формах, тех, кого он обобщал в презрительном термине « академики ».

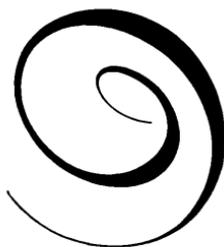
Военное искусство подчиняется тем же принципам, что всякое проявление человеческой деятельности. Жизнь — это вечная борьба во всех отраслях. От Сун-Це и Цезаря никто не сказал ничего нового в военном деле. Суворов также. « Военное искусство не сложно, говорил Наполеон, оно заключается в деятельности ».

Но Суворов не только схватил сущность военного дела, он сумел не только отчетливо и ярко его определить, но также применить его принципы на деле и передать их своим подчиненным. Вот почему, по сей день, его учение остается свежим и полноценным.

И нам кажется, что его Глазомер, Быстрота и Натиск действительны не только для военного дела, но и для всех отраслей человеческой деятельности.

Можно найти им применение и к администрации, и к дипломатии, и к политике, и к педагогике... и к коммерции и вообще ко всем областям, в которых человек борется или состязается с другими людьми, — будь он поставлен над своими ближними или же действуя в единственном числе... Да простит нам Великий Полководец такие « штатские » сравнения.

С. Андоленко



Варшава

Июль 1944 года

(Окончание *)

Отъезд моей семьи был тяжелым ударом. Я не знал, что ждет ее в пути. Я не был уверен в том, что когда-либо ее увижу. Связь прервалась. Помочь я ничем не мог. Осталось выполнение долга перед теми, кто Варшаву еще не покинул.

Предположив, что фон Тротта, несмотря на воскресенье, должен быть в Брюловском дворце, я ему позвонил.

— Сделаю всё возможное, — обещал он, — но пришлите списки тех, кому нужны пропуска.

В картотеке Комитета значилось, по одной Варшаве, восемь тысяч имен. Летом 1943 года, в предвидении неизбежной катастрофы, они были разделены на группы по числу русских варшавян, обладавших телефонами. В каждую группу, кроме владельца аппарата, были включены его близкие и дальние соседи. Остались пробелы, но я надеялся, что, в нужную минуту, они заполнятся сами.

Первыми на возникшую в городе тревогу откликнулись служащие канцелярии. К вечеру, все они были в сборе. Я рассказал им разговор с фон Тротта и прочитал написанное мною извещение. Двое занялись его передачей по телефону. Остальные помогали — делали отметки в картотеке, занялись приготовлением первых списков. На это ушла вся ночь.

— Немецкие семьи — написал я — покидают город. Комитет надеется, что ему удастся эвакуировать своих членов, не только женщин и детей. Нужно срочно составить перечень желающих уехать. Включить ли вас в него? Пожалуйста, передайте это сообщение вашим русским соседям. Запишите их фамилии и адреса. Комитет не может их предупредить, так как телефона у них нет.

Я ожидал, что каждый или почти каждый русский варшавянин воспользуется этим предложением, но ошибся — отклики не были единодушны. Кроме благодарности и слезной просьбы не забыть, помочь, спасти, моим сотрудникам пришлось выслушать смущенные ответы тех, кто благодарил за

*) См. « Возрождение » № 218.

внимание, но прибавлял, что болезнь или семейные обстоятельства заставляют остаться в Варшаве. Во многих случаях, привязанность к квартире, к мебели, к имуществу была сильнее страха перед надвигавшейся опасностью.

На рассвете, я дал служащим короткий отдых. Все они обещали вскоре вернуться и все, с одним исключением, исполнили это обещание.

**
*

Кроме эмигрантов и польских граждан русского происхождения, в Варшаве было тогда немало новых беженцев с Востока. Одни из них наполняли общежитие, которое немцы, почему-то, называли карантин, хоть на карантин оно похоже не было. Другие ютились, где могли. Арендванное Комитетом здание Гранд-Отеля на Хмельной улице вмещало свыше ста пятидесяти священников, профессоров, инженеров, врачей и их семьи. На частных квартирах жило несколько православных епископов с Украины и из Белоруссии. Я не сомневался в том, что никто из этих новых эмигрантов не захочет остаться в городе.

Ждать подтверждения пришлось не долго. С раннего утра 24 июля, бывшие советские граждане потянулись к дому, где я жил. Многие пришли с вещами — всем своим бедным скарбом, проделавшим далекий путь с Кубани, Дона и Днепра. Не только тротуар, но и лестница заполнились встревоженным народом. Я распорядился вынести стул во внутренний двор и, поднявшись на него, сказал, что Комитет позаботится о новых беженцах, как о собственных членах. В этот и в следующие дни, до окончания эвакуации, этот стул неоднократно был моей трибуной.

**
*

Я знал, что могу положиться на канцелярию. За исключением одной, недавно принятой на службу барышни, не вернувшейся после бессонной ночи, она состояла из преданных делу, верных людей. Всё же, внезапная перемена обстановки сказалась и на них. Всё вокруг рушилось. То, что накануне казалось важным, вдруг лишилось значения. Нужно было их подчинить одной, направляющей воле.

В 1940 году, в день моего переезда на Вейскую, канцелярей была заведена книга для записи посетителей. Ее практическое значение было невелико. Она была — надо сознаться — подражением тому, что делалось в Берлине у В. В. Бискупского. Число посетителей можно было, в случае надобности, устано-

вить и без подробной, именной записи, но, раз начатая, книга заполнялась ежедневно. Выйдя 24 июля в приемную, я заметил, что ее на столе дежурного нет. Несмотря на толпу, заполнившую приемную и лестницу, я потребовал возобновления записи. Это приказание оказало благотворное влияние. Оно подтвердило, что установленный порядок должен соблюдаться до его отмены.

**
**

Вечером, в тот же день, фон Тротта известил меня, что Словакия согласилась принять русских варшавян. Он сообщил приблизительное время отправки первого эшелона и обещал предоставить Комитету товарный вагон для перевозки архива и имущества в Равенсбург. А. В. Шнее и Г. А. Малюга, бывший член правления Российского Общественного Комитета, взяли этот вагон сопровождать.

Первенство принадлежало, однако, спасению людей, продолжавших 25 июля, как и накануне, осаждать мою канцелярию. Ради них, я решил пожертвовать большей частью архива и всем имуществом, кроме национальных реликвий.

Пока в приемной шла запись желающих уехать из Варшавы; пока списки отвозились, для получения пропусков, в открытое фон Троттой, вблизи Комитета, временное бюро; пока в моей столовой, на узлах и чемоданах, сидели семьи тех моих сотрудников, которым предстоял отъезд в Словакию, началась поспешная упаковка этих реликвий. Были вынуты из резных, золоченых рам большие портреты императоров, приобретенные до войны от варшавского окружного суда. С Аллеи Роз был доставлен великолепный, дворцовый портрет жены Царя-Освободителя — дар польского Красного Креста. Был положен в ящик тяжелый мраморный бюст самого Александра II — памятник, установленный в Варшаве в 50-летие введения судебных уставов в Царстве Польском, снятый в 1915 году после оставления города русскими войсками, купленный мною 12 лет спустя с торгов, на которых он был назван «не-нужным камнем». Из Дома Русской Молодежи было привезено знамя русских скаутов.

Труд был не напрасен — царские портреты украшают теперь Дом Свободной России в Нью-Йорке; один, небольшой портрет находится в Лейквуде, в музее общества «Родина»; изображение императрицы передано Кубанскому войсковому музею в Астории; тот же музей получил португепю императора Николая Павловича; бюст убитого революционерами монарха всё еще принадлежит мне.

Скаутское знамя было отдано Б. Б. Мартино, как бывшему начальнику Дома Молодежи, когда он, в 1948 году, приехал с отрядом русских скаутов в Равенсбург на открытие памятника погребенным в окрестностях этого города соратникам Суворова.

Архив — комитетский и частный — пришлось уничтожить. Вывезти удалось немного, только самое — в историческом смысле — ценное. Остальное было сожжено в котлах центрального отопления.

**
*

Во второй половине дня 25 июля, дежурный, войдя в кабинет, доложил, что меня хочет видеть редактор Н-ский.

Редактором, в Польше, называли каждого журналиста. Н-ский был молодым сотрудником популярной газеты, для которой я изредка писал небольшие заметки на русские темы. Мы встречались в редакции, но знакомство было поверхностным. Польский националист и ревностный католик, он, по слухам, во время войны примкнул к партизанам. Его появление в Комитете, в разгар приготовлений к эвакуации русских варшавян, было странным и необъяснимым.

Лучше, чем Н-ского, я знал его родственника, писателя и публициста, соредактора той же газеты. Он тоже был поляком, но человеком западной, европейской складки, терпимым и мягким. Доброжелательно и бескорыстно, он исправлял мои рукописи, пока я сам не научился писать по-польски правильно, и содействовал их появлению в печати. Это было началом нашей дружбы, но охватившая Польшу в 1938 году волна воинствующего шовинизма прекратила мое участие в польской прессе и мы, с тех пор, виделись редко. Об его судьбе под немецкой оккупацией я ничего не знал. Кто-то утверждал, что видел его в Лондоне. Поэтому, я очень удивился, когда, вместо Н-ского, вошел он.

Мы обнялись и расцеловались. Нежданный гость сказал, что хочет со мной поговорить, но не в Комитете. Я ответил, что охотно выйду в город. Осторожно протиснувшись по ступеням, запруженным людьми и вещами, мы спустились вниз.

На Mokotowskiej улице, наискосок от Вейской, существовала небольшая кондитерская, принадлежавшая русской вдове адвоката-поляка. Там, в уютной обстановке, можно было выпить чашку кофе и съесть пирожное. Подавали к столикам польки, не занимавшиеся этим до войны. Одной из них была высокая, красивая брюнетка, артистка София Андрыч. Я не знал, что она — жена бежавшего из концентрационного лаге-

ря левого социалиста Станислава Цыранкевича, будущего несменяемого премьер-министра коммунистической Польши.

Других посетителей в кондитерской не было. Мы сели в темном углу. Пианист, скучавший за роялем, прикоснулся к клавишам — раздалось томное танго. Нам это было кстати — можно было поговорить свободно.

С. — я вынужден ограничиться этой буквой — спросил, собираюсь ли я уехать из Варшавы. Услышав, что день отъезда не решен, он посоветовал его ускорить. Я захотел узнать причину. Он сослался на приближение большевиков к Варшаве и добавил, что немцы к обороне не способны. Я возразил, назвав немецкое сопротивление вероятным.

— Без боя — сказал я — они Варшаву не сдадут.

С. спорить не стал, но повторил совет :

— Уезжайте как можно скорее... До 30 июля мы можем обеспечить вашу безопасность... После этой даты, мы ни за что не ручаемся...

Я понял, что он пришел к мне не только по своему почину. Кто мог его прислать? Только поляки и, притом, поляки, причастные к национальному подполью. Не значит ли его предупреждение, что они готовы к выступлению и вооруженное восстание начнется на-днях?

— Скажите, — спросил я, — не понадобятся ли вам, после 30-го июля, радио-аппараты? В Комитете, на Аллее Роз, их сложено до двухсот, — их, в 1939 году, сдали на хранение русские эмигранты. Приходится их бросить. Если вы тогда сможете их взять, возьмите. Пусть это будет благодарностью за ваше дружеское предостережение.

С. улыбнулся... Ничего точного сказано не было, но мы поняли друг друга. Пора было вернуться на Вейскую — мое отсутствие могло показаться странным. Мы еще раз обнялись и распрощались.

Он пережил варшавское восстание и уцелел. В ноябре 1944 года мы случайно встретились в Кракове, на улице, но я не смог спросить, что побудило его придти ко мне в июле. Из воспоминаний участников и возглавителей восстания теперь известно, что оно должно было начаться до 30 июля, но было дважды или трижды отложено.

**
*

Комитет ничем не заслужил внимания и, тем более, благодарности тайных польских организаций. Связи с ними я не искал, понимая ее опасность не только для меня, но и для всей

русской эмиграции в занятой немцами Польше. Дважды, однако, пришлось сообщить полякам отношение Комитета к обстоятельствам, вызванным войной и оккупацией.

В самом их начале, в 1939 году, в Варшаве возникла состоявшая из пяти-шести человек русская группа, провозглашавшая своей целью захват католических храмов, переходивших из рук в руки в прошлом и в начале этого столетия. Ее вдохновителем был профессор православного богословского факультета Варшавского университета, еще недавно усердно кадивший Ватикану на униатском съезде в Велеграде.

Свое внимание группа направила на гарнизонный костел на Длугой улице. Построенный католиками, он был превращен в православную церковь после восстания 1863 года и опять стал католическим храмом в 1915 году. Профессора прельщало не столько он, сколько связанные с ним доходные дома, но попытка захвата кончилась плачевно. Католики свою святыню отстояли. В пылу возникшей свалки, воинственный ученый, ударом палки, разбил витраж с польским гербом.

Комитет осудил этот поступок. Его постановление было сообщено варшавскому архиепископу, кардиналу Каковскому, русской делегацией во главе с Н. С. Кунцевичем.

Прошло несколько лет и, в конце июня 1943 года, я получил заказное письмо. Оно было адресовано по-немецки, на пишущей машинке. Фамилия отправителя указана не была, а адрес был ложным — несуществующий, четырехзначный номер дома на улице Солец.

Вскрыв конверт, я нашел в нем обращенное ко мне, как к председателю Русского Комитета, распоряжение тайного делегата польского зарубежного правительства на занятой немцами территории. Подпись — несомненный псевдоним — была неразборчивой: не то Грот, не то Гром. Круглый оттиск оборотной стороны небольшой польской монеты — одноглавый орел — заменял печать.

« От имени и по поручению правительства Речи Посполитой, временно пребывающего в Лондоне — написал делегат — сообщаю и предписываю Вам нижеследующее ».

Предписание состояло из трех пунктов. В первом было сказано, что члены Комитета пользуются средствами передвижения, предоставленными немцам, как например, передними площадками вагонов варшавского трамвая. По мнению польского правительства, это недопустимо и должно прекратиться.

Во втором сообщалось, со ссылкой на продолжительное наблюдение, что русские варшавяне и даже председатель Комитета бывают в немецких ресторанах, нарушая этим лояльность польских граждан к государству.

Третьим пунктом делегат лондонского правительства обратил мое внимание на то, что члены Комитета «носят значки, выделяющие их, как группу, пользующуюся предоставленными оккупантом преимуществами». Мне предписывалось «в осторожной форме обратить внимание членов Комитета на недопустимость этого обыкновения и побудить их к его прекращению».

Требования сопровождалась ссылкой на законы, принятые польским правительством в Румынии, в 1939 году, после бегства из Польши, и на кару за их нарушение.

Не будь этой угрозы, письмо было бы вежливым, почти любезным. Его автором был, несомненно, кто-то, причастный к бывшему польскому министерству внутренних дел. Буквы, предшествовавшие номеру письма, совпадали с теми, которыми, до войны, обозначал свою переписку отдел национальных меньшинств политического департамента этого министерства.

Упреки были мелочны, а пожелания невыполнимы, но молчание было бы ошибкой. Нужно было поговорить. Я пригласил двух поляков на чашку чая.

*
*

Одним из них был пожилой человек, которого я знал с начала двадцатых годов. Он был консерватором и, внешне, типичным польским шляхтичем. Долго прожив, до революции, в России, он, как многие поляки, сроднился с нею и не был русофобом. По возрасту и по характеру, он вряд-ли мог быть участником подпольного сопротивления, но я ценил его мнение и хотел, чтобы он узнал мое.

Второй принадлежал к другой среде. Сын зажиточных крестьян, воспитанный в Галиции, он делал, до войны, удачную служебную карьеру и осторожно плыл по течению политики Пилсудского и его преемников. Оккупация скомкала, разбила его жизнь. Связь с подпольем казалась, в этом случае, вероятной.

Они знакомы не были, встретились у меня впервые и сразу поняли, что я их пригласил не для пустого разговора. После неизбежных фраз, я, сначала, показал, а, затем, прочитал письмо правительственного делегата. Окончив чтение, я воскликнул, взволнованно и резко :

— Считаю это возмутительным... Если у польского правительства в Лондоне нет большей заботы, чем слезка за тем, с какой площадки входят в трамвай русские варшавяне, то я его с этим поздравляю... Скажу вам прямо, эти требования я от-

вергаю... Обвини меня ваше правительство в выдаче поляков немцам и пригрози расстрелом, я бы его понял, но в этом оно меня, слава Богу, упрекнуть не может. Настаивать же на том, чтобы русский эмигрант не лез в вагон спереди, когда сзади войти невозможно, смешно и странно. Скажите сами, могу ли я заставить человека отказаться от дешевой похлебки, которой он утоляет голод в немецкой столовой? Многие поляки делают то же, когда им это удастся... А о значке Комитета скажу вам вот что : на нем не свастика, а Двуглавый Орел, и носим мы его не с согласия немцев, а вопреки их прямому запрещению...

— Вы — заключил я спокойнее — мои польские друзья... Пользуюсь вашим присутствием, чтобы заявить, что полученное мною предписание невыполнимо ... Я его не исполню, не взирая на последствия...

Смущенное молчание было ответом на эту вспышку.

**

*

Осенью того же года, на рассвете, меня разбудили, сказав, что заплаканная полька умоляет ее немедленно принять. В приемной я застал жену моего второго гостя. Она сообщила, что муж был ночью арестован и увезен, повидимому, в гестапо.

— Ради Бога, помогите, — повторяла она.

Положение было трудным. Арестованный был поляком, пилсудчиком и, вероятно, участником тайной организации. Что можно было сделать в его защиту?

Правительство генерал-губернаторства запретило национальным Комитетам прямые обращения к учреждениям, подчиненным Гиммлеру. Это было одним из проявлений ведомственных трений между Краковом и Берлином. Каждое ходатайство, обращенное к полиции, нуждалось в предварительной санкции отдела национальностей и общественного призрения. После Ауэрсвальда и Гейнриха и до фон Тротта, начальником этого отдела был молодой силезский судья, более всего опасавшийся призыва в армию и, поэтому, крайне осторожный. В лучшем случае, он мог заступиться за русского эмигранта. Представить его себе защитником бывшего польского чиновника я не мог. Объяснив это несчастной женщине, я сказал, что должен подумать.

Утро прошло в мучительных колебаниях. Решение созрело внезапно, когда я, для успокоения, вышел в город. На площади Трех Крестов, где поляки часто собирались вокруг мегафонов, чтобы услышать военные сводки и другие немец-

кие сообщения, кучка людей стояла, на этот раз, у стены одного из домов, перед наклеенным на эту стену большим, красным объявлением. Я знал, что оно — очередной список заложников, арестованных после убийства немца.

Остановившись, я пробежал список. Он состоял из ста имен. Все были названы коммунистами. Всем угрожал расстрел. Во втором столбце, в алфавитном порядке, была фамилия того, кому я бессильно хотел помочь.

Бегом вернувшись домой, я предупредил канцелярию, что еду в Брюловский дворец. Я не знал, удастся ли попытка вырвать арестованного из тюрьмы, но чувствовал, что могу это сделать безопасно для себя и для Комитета.

Любезно принятый, я начал разговор заявлением, что приехал по не совсем обыкновенному делу.

— Боюсь, — сказал я, — что престиж германской власти в Варшаве может пострадать.

Не дав собеседнику времени удивиться, я прибавил, что, случайно, увидел список заложников-коммунистов и нашел в нем человека, который коммунистом никогда не был.

— Многие русские эмигранты знали его хорошо... Многим он помог, пользуясь, до войны, своим служебным положением... Если они узнают, что он расстрелян по обвинению в коммунизме, это подорвет доверие к немцам...

Это утверждение было соломинкой, за которую хватается утопающий, но доля правды в нем была. Мой недавний гость, действительно, был в довоенной Польше государственным служащим. Он, действительно, не был коммунистом, но я сознательно преувеличил и приукрасил его помощь русским эмигрантам. Он всегда был послушным орудием польской политики и только накануне нападения Германии на Польшу понял вред, причиненный его родине шовинистическим разгулом разрушителей православных церквей на Холмщине и тайным циркуляром министра внутренних дел, генерала Славой-Складковского, об искоренении всех проявлений русской жизни в стране.

Мой ход не был убедительным, но он был моим единственным оружием. Я надеялся вызвать в бывшем судье отпор формальной неправде, состоявшей в причислении арестованного к коммунистам.

Расчет оказался верным. Вопреки всему тому, что делалось в городе, охваченном террором и контр-террором немцев и поляков, мой знакомый был на третий день освобожден. Уцелел ли он в коммунистической Польше, не знаю.

Кроме разговора с С., мне — в эти необыкновенные дни — была суждена еще одна удивительная встреча, но 26-ое июля началось не ею.

Один за другим, приходили проститься служащие Комитета, уезжавшие в Словакию — правитель канцелярии А. В. Полянский, его помощник К. К. Яворский и другие. Из членов правления, только Н. С. Кунцевич захотел разделить мою судьбу, как бы она ни сложилась. Четверо служащих поступили так же. Я никого не задерживал — невнятный гул орудий доносился издалека.

Отправка первого эшелона должна была состояться днем. Я поехал на главный вокзал с Г. А. Малюгой, отвозившим в Равенсбург сохраненную часть архива. Состоявший из вагонов третьего класса поезд стоял на запасном пути. Перед ним выстроились уезжавшие со своим багажом. Посадка еще не началась.

— Митрополит приехал — воскликнул кто-то.

Вдоль поезда, направляясь ко мне, шел митрополит Дионисий, окруженный немногочисленным духовенством. Большинство варшавских священников решило остаться в городе. Я поспешил навстречу и подошел под благословение.

Несколько позже, после окончания посадки, я поднялся в вагон, где митрополит и его спутники разместились в двух узких, тесных отделениях. На прощание было сказано несколько незначительных слов, да и что можно сказать в такую минуту?

Это было нашей последней встречей, завершившей долгие, драматические отношения. До 1939 года я был упорным, непримиримым и, должен сознаться, слишком строгим и не всегда справедливым противником его политики. Она казалась мне угодливой, уступавшей всем пожеланиям польской власти и отрывавшей православие в Польше от его русских корней. Не связанный участием в церковной жизни отвергнутой мною автокефалии, я недостаточно считался с трудным положением митрополита, созданным крушением России и ее захватом коммунистами.

Первый удар этой непримиримости был нанесен митрополитом Антонием, принявшим приглашение в Польшу и не приехавшим из Югославии только потому, что польская печать решительно его приезду воспротивилась. Встреча двух иерархов состоялась, однако, в Бухаресте и была как бы признанием польской автокефалии русской зарубежной Церковью.

Вторым ударом стали, в 1939 году, неудачная попытка упразднения автокефалии и грубое вмешательство немцев в этот церковный спор. Временное устранение митрополита Дионисия

с варшавской кафедры кончилось его возвращением. Автокефалия — в измененном виде — сохранилась. Продолжение борьбы, в условиях войны и оккупации, было бесцельным. Митрополит, первый, протянул Комитету руку. Я ее принял.

**
*

Вечером 26 июля, эвакуация русских варшавян была закончена. Каждый, желавший уехать, смог это сделать. На Вейской, кроме меня, остались Н. С. Кунцевич и четверо сотрудников. Наше число увеличилось неожиданно.

— Вас — сказали мне — хочет видеть оборванный старик. Он говорит, что знает вас с детства. Зовут его Михаилом Ивановичем Зориным.

Михаил Зорин? Неужели тот Миша, которому я, может быть, обязан жизнью? Но какой же он старик? Ведь, если это он, ему должно быть лет сорок восемь, не больше...

Вошедший человек выглядел гораздо старше. На нем был ветхий, обтрепанный мундир немецкого солдата со срезанными знаками отличия, серые брюки, разлезаясь обувь. Давно нестриженные волосы были, на висках, покрыты сединой. Лицо заросло щетиной. Только глаза были молоды.

— Вы меня не узнаете? — спросил он негромко.

Узнать его было невозможно — я помнил белобрысого, курносого паренька. Неверно истолковав мое молчание, он прибавил :

— Помните двадцать первый год?... Я — Миша Зорин...

Нет, я не забыл его. Существуют люди и события, которые забыть нельзя. Не только 1921 год, но и детство вошло в мой кабинет с этим грязным, несчастным, рано состарившимся оборванцем. Прежде, чем расспросить, нужно было о нем позаботиться.

Часа через два, вымытый, побритый, переодетый М. И. Зорин рассказал, как он попал в Варшаву и что привело его на Вейскую.

Он был сыном горничной, прослужившей много лет в доме моего деда, редактора « Варшавского Дневника » А. Т. Тимановского, а, затем, в семье моих родителей. Мои братья и я почтительно называли ее Марьей Григорьевной. Миша участвовал в наших играх, но случалось это не часто. Он учился в школе стоявшего в Варшаве гвардейского полка и носил, в мальчишеском возрасте, полковую форму, которой я очень завидовал. В 1914 году, уйдя с полком в поход, он был, в Восточной Пруссии, ранен в руку. После революции, связь с ним оборвалась.

Летом 1921 года меня разыскала в Одессе приехавшая из Киева дама. Она привезла короткую записку. Рукою моей матери, на клочке бумаги, были написаны фамилия и киевский адрес Марьи Григорьевны. С запиской я получил знакомое кольцо. Темный сапфир и светлый бриллиант в платиновой оправе были бесспорным доказательством того, что моя мать меня нашла.

В сентябре я поехал в Киев, но не застал ни матери, ни брата. Мария Григорьевна радушно приняла меня и сообщила, что ее сын дважды побывал на границе и перевел их в Польшу.

27 сентября он это сделал в третий раз, ради меня. Трижды ему помог бывший камердинер деда, владевший хутором верстах в двух от вольнской деревни Майково.

Из этой деревни мы попали в Острог и, оттуда, в Ровно. Миша колебался, не стать ли ему эмигрантом, но привязанность к семье победила. Он вернулся в Киев. На прощание, я подарил ему кольцо.

С тех пор, он прожил 20 лет под советской властью. Война, в 1941 году, показала освобождением. Затем начался трудный уход на Запад. Знакомую с детства Варшаву он увидел тогда, когда советские передовые части достигли Вислы. Кто-то на улице, узнав в нем беженца, посоветовал :

— Сходите в Русский Комитет... Председателем там Войцеховский...

Не зная, тот ли Войцеховский, с которым он расстался в Ровно, Миша Зорин на Вейскую пришел. Настала моя очередь оплатить старый долг.

**
*

27 июля я проснулся в опустевшей квартире. Тихо было в ней и тихо было в канцелярии. Не звонил телефон, не стучали пишущие машинки, не было ни души в приемной. Необыкновенно тихо было и на улице. Варшава казалась вымершей. Предостережение моего польского друга было, очевидно, верным. Варшавяне что-то знали и к чему-то готовились. Н. С. Кунцевич и я сочли отсрочку отъезда опасной и назначили его на следующий день.

Утром я обошел комнаты, прощаясь с ними. Вещей я не жалел. Семейные образа и часть моих книг были отосланы в Равенсбург. Остальное было бы лишним грузом. Я предвидел испытания, предстоявшие нам, русским эмигрантам, оставшимся, в дни военной бури, непримиримыми противниками коммунизма.

Днем захотелось взглянуть, в последний раз, на польскую

столицу. Мой секретарь пожелал разделить со мной эту прощальную прогулку.

Город показался нам мертвым. В жуткой тишине, шаги отдавались гулким эхо. Редкие прохожие жались к стенам, словно чего-то опасаясь.

Мы дошли до площади, которую, варшавяне, по старой памяти, называли Варецкой, хотя она давно была переименована в честь Наполеона. Там, у здания почтамта, всегда переливался поток пешеходов, автомобилей и извозчичьих пролеток. На этот раз, мы не увидели никого.

Дальше, на Мазовецкой, нас поразил зазвучавший вдруг вблизи струнный оркестр. Он раздавался из садика Филлипса, летнего кафе, названного так потому, что в доме, отделявшем его от улицы, помещалась до войны известная голландская фирма. Любопытно было взглянуть на этот оазис в варшавской пустыне.

**
*

На просторной площадке, под немногими деревьями, стояли круглые столы и стулья. Две-три чахлые клумбы пытались оправдать название сада. Почти каждый стол был занят. Вот и знакомое лицо — русский инженер, крупный делец, по видимому, не помышляет об отъезде...

Мы прошли вглубь, заказали мороженое. Его принесла рядная официантка. С террасы доносился венский вальс. Трудно было поверить, что мы только что расстались с могильной тишиной.

В Варшаве меня знали многие. Нас заметили. Подошла и присела к столику дама, управлявшая садиком, — дочь дипломата, представлявшего до революции Россию в европейском королевстве и легко, несмотря на придворное звание, сменившего вехи после октябрьского переворота. Ее муж — коренной русский варшавянин, сын однополчанина моего отца — знал меня с раннего детства. В независимой Польше он стал офицером, прикомандированным к французскому посольству, и сохранил и позже светские связи с дипломатическим корпусом и с польским обществом. Его решение остаться в Польше меня не удивило. Зато мое появление поразило его жену.

— Как! — воскликнула она, — вы еще здесь?

Я прикинулся непонимающим:

— Что же в этом странного?

Вопрос ее смутил — она не могла ответить, что польское восстание может вспыхнуть ежеминутно. Может быть, я поколебал ее уверенность в его неизбежности. Беспомощно огля-

нувшись, она заметила молодую женщину в легком, раскладном кресле и обратила на нее мое внимание :

— Да, пожалуй... Видите эту блондинку, секретаршу Фишера, немецкого губернатора... Она тоже здесь... А я-то думала, что вы давно уехали...

Шутку нужно было прекратить.

— Нет, не уехал, но уезжаю, а вам желаю всего доброго... Передайте Левушке привет... Знаю, что вам Варшаву бросить трудно...

Мы расстались дружелюбно. Неделью спустя, она была убита бомбой, сброшенной немецким летчиком на питательный пункт повстанцев.

**
*

Из трех православных церквей, сохранившихся в Варшаве после первой мировой войны, Троицкая на Подвалье была, более других, эмигрантской и русской.

До разделов Речи Посполитой, ее построили греки, торговавшие с Польшей. От них, через полтораста с лишним лет, сохранилась над входом византийская икона.

Снаружи, храм на церковь похож не был. Это низкий флигель в глубине двора, окруженный с трех сторон тяжелыми стенами старинного дома. Небольшая квартира в этом доме принадлежала, сначала, русскому эмигрантскому Красному Кресту. После высылки из Польши Л. И. Любимовой и ее помощников по этой организации, там разместился Российский Комитет, председателем которого был В. И. Семенов. В мае 1928 года, он был закрыт польским правительством после покушения моего брата Юрия на советского представителя Лизарева. Помещение было опечатано, но, три года спустя, возвращено Российскому Общественному Комитету. Эмигранты, естественно, туда стекались. Церковный двор был свидетелем многих радостных и печальных встреч.

Когда эмигрантский поток иссяк и наладился казавшийся прочным русский быт в Варшаве, церковь на Подвалье сохранила свой, преимущественно беженский, облик. Не в пример большому и более богатому собору на Праге, она не испытала давления сторонников украинизации и полонизации. 1-го октября 1939 года, в день вступления германских войск в Варшаву, Н. Г. Буланов с ее клироса сообщил переполнившим храм варшавянам, что Общественный Комитет не прекратил работы в пострадавшем от осады городе.

Настоятелем Троицкого прихода был протоиерей Александр Субботин, немолодой, но высокий, статный, очень краси-

вый человек, умело ладивший с прихожанами и с нелюбимой ими митрополией. Он был особенно внимателен ко мне, когда я стал председателем Комитета, и даже, иногда, преувеличивал это, неуместное в храме, внимание.

Так же высок, благообразен и заметен был второй священник, протоиерей Димитрий Сайкович. В отличие от настоятеля, он был, однако, решительным противником митрополита Дионисия. В 1939 году он приветствовал его отстранение и оказавшуюся временной заменой приехавшим из Берлина митрополитом Серафимом. Крушение надежды на упразднение автокефалии отразилось на нем тяжело. Он отошел от привлекавшей его раньше русской общественной жизни. Здоровье пошатнулось. Смерть подстерегала. Он скончался на Вольни, вскоре после окончания войны.

Меньше, чем этих двух священников, я знал третьего — молодого протоиерея Георгия Лотоцкого. Небольшой, черноглазый и смуглый, он мог сойти за молдаванина или левантинца. До войны, он был в Варшаве тюремным священником, а при немцах, после возвращения митрополита Дионисия на кафедру, стал его незаменимым сотрудником в сношениях с оккупантами. Долгая борьба Комитета с митрополией вряд ли могла расположить его ко мне. Меня удивило, что на просьбу отслужить на Вейской напутственный молебен откликнулся именно он.

**
*

28 июля, рано утром, мой секретарь по телефону передал эту просьбу протоиерею Субботину. Вероятно, оттуда известие о моем отъезде распространилось по городу. Иначе трудно объяснить то, что к назначенному для молебна часу начали стекаться те, кто захотел со мной проститься.

Пришла В. Н. Блюменталь, подруга моей матери, почитаемый русскими варшавянами педагог. Пришли другие старые знакомые. Пришел Л., поляк, женатый на русской. До захвата власти Пилсудским в 1926 году, он занимал видное положение в одном из министерств и избавил многих русских землевладельцев от направленного против них, злостного толкования земельной реформы.

Растрогал меня другой поляк, портной, исполнивший, в прошлом, немало моих заказов. Прощаясь, он протянул мне 500 немецких марок и сказал :

— Вам деньги будут теперь нужней, чем мне... Возьмите их, пожалуйста...

Протоиерей Лотоцкий, казалось, предвидел то, что мне предстояло. Он включил в молебен прошение об избавлении от клеветы человеческой. Сколько я ни слышал, раньше или

позже, напутственных молебнов, это было единственным, не повторившимся случаем. Впрочем, он предсказал и свою судьбу.

— Почему вы, о. Георгий, — спросил я, подойдя к кресту, — остаетесь в Варшаве?

— Знаю, — сказал он тихо, — что остаюсь на смерть, но решения не изменю.

Он погиб, недели через три, с женой и детьми, под развалинами дома на Медовой улице. От Троицкой церкви — после подавления восстания — не осталось камня на камне.

**
*

Женщина, помогавшая моей жене в хозяйстве, была вдовой поляка. Она не захотела расстаться с Варшавой, но не бросила работы до конца. После молебна, я ее попросил накормить меня и моих спутников.

— Сергей Львович, — всплеснула она руками, — дома нет ничего, разве только гречневая каша...

— Что-ж, дайте кашу.

Она подала ее на фарфоре, в большой, парадной столовой. За овальным столом нас было семеро уезжавших и двое пожелавших проводить нас сотрудников Комитета — М. И. Панткова и милый юноша, которого не назову, так как его судьба мне не известна. Непреодолимые причины заставили обоих отказаться от отъезда. Тем трогательнее было их присутствие — свое отношение ко мне и к Комитету они, в трудную минуту, засвидетельствовали без забрала.

В буфете я нашел одну, забытую бутылку шампанского. Разлив вино в стаканы, я поднял свой :

— Господа, за Россию.

**
*

На вокзал дошли пешком. В последний раз взглянул я на места, где жил ребенком, куда вернулся эмигрантом. Я знал, что прощаюсь с ними навсегда. Со мной был вещевой мешок — единственное достояние — и, в нем, трехцветный, шелковый флаг, когда-то сшитый, по указанию В. И. Семенова, для Российского Комитета в Польше, перешедший, по наследству, к его преемникам и, еще недавно, стоявший под иконами, в зале, на Аллее Роз; тот флаг, которому я — в меру сил и разума — служил в Варшаве. Там, от этой службы меня освободила эвакуация русских варшавян. Прежняя жизнь оборвалась, предстояла новая. Берлинский поезд был ее началом.

С. Л. Войцеховский

Борьба за сердца и за души

Среди немногих мыслителей и публицистов просвещённо-го Запада, ясно увидевших истинную сущность коммунизма в его бездушии и бездуховности, в его безбожии и, тем самым, бесчеловечности, одним из первых был известный женевский социолог Вильгельм Рёпке. По его словам, коммунизм — это «проблема *духовных* основ Запада, которым опасность грозит изнутри — со стороны того псевдо-религиозного "Ислама", Мекка которого находится в Москве... Собственно говоря, опасность эта заключается даже не столько в численности — ставшей уже постоянной величиной — тех, кто ныне открыто исповедует марксизм-коммунизм, сколько в ужасающей совокупности *цинизма, слабости, глупости, нерешительности, трусости, растерянности и нечистой совести*, которые коммунизм в состоянии мобилизовать в мире для своих целей. Это — прежде всего *духовная* проблема, — не военная, не культурно-географическая и уж, конечно, не экономическая»...

Если кризис нашего времени есть, несомненно, кризис духа, то поскольку жизнь человека — это духовное начало в нем, раскрывающееся во-вне, этот кризис есть в то же время и кризис жизни. Но жизнь и судьба как отдельного человека, так и целых народных организмов зависят от того, из какого религиозно-нравственного источника они черпают свои духовные силы, т. е. от их веры. И так, *кризис современного человечества есть кризис духа, жизни и веры, а поскольку осознанная вера становится идеей, то он и есть прежде всего кризис идеи*. Единственный носитель идеи, как и единственная живая реальность в истории человечества — это сам человек, человеческая личность в своем отношении к Богу, к миру, к другим людям. И если кризис всей духовной культуры нашего времени проходит под знаком борьбы за самые основы веры и жизни, то конкретно это выражается в борьбе за права, свободу и достоинство человеческой личности — и притом не только по эту, но и по ту сторону Железной Завесы. Борьба идёт за высшие ценности, которые *неделимы*.

Казалось бы поэтому, что вопрос о взаимоотношении между свободным человечеством и мировым коммунизмом (во всех его личинах и обличиях) разрешается необычайно легко и просто: либо во всей сфере коммунистического владычества восстанавливаются в полном объёме права человека,

либо свободный мир порывает всякие отношения с коммунистическими странами — морально изолирует их.

Для каждого мало-мальски знакомого с учением и практикой марксизма-коммунизма очевидно, что преодолеть его возможно только с ясных и твердых позиций — с позиций *религиозно-нравственных*. Каждый из нас должен в сердце своем принять решение: за или *против* коммунизма. Тут не может быть никаких «виланий». А так как с религиозно-нравственной точки зрения можно быть лишь *против* коммунизма, то отсюда вытекает и вполне определённая *антикоммунистическая* установка...

И, вот, невольно задаешь себе вопрос: что же стало с антикоммунизмом в наши дни? За ответом далеко идти не приходится; в наше время быть антикоммунистом просто «неприлично» для человека интеллигентного, «культурного», политически «подкованного». При этом совершенно забывают, что нельзя свое собственное неверие, свою безыдейность и нравственное убожество переносить также и на коммунизм. Ибо люди, которых можно назвать идейными и, тем самым, политическими вождями мирового коммунистического движения, веруют и в Маркса, и в Ленина, и в их учение. А этим всё сказано. Веруя в коммунизм, они преисполнены фанатической, больше того — инфернальной ненависти ко всем видам и формам антикоммунизма. Эта ненависть породила, и не могла не породить, своеобразное и уродливое явление, которое лучше всего назвать воинствующим *анти-антикоммунизмом*. Словообразование это довольно неуклюже, но, по правде говоря, не более уродливо, чем само явление. Оно точно передает его сущность и смысл. Одно время я даже считал себя изобретателем этого термина, пока летом 1963 года случайно не установил, что за несколько месяцев до меня его пустил в оборот Николай фон-Гротте, один из действительных западных специалистов в этом вопросе.

Опираясь в первую очередь на *коммунистические* источники, довольно быстро можно установить, что коммунистическое руководство всех видов и оттенков свою настоящую задачу видит в систематической, последовательной и беспощадной борьбе с любой формой антикоммунизма. В ходе «холодной» — психологической — войны, которую коммунизм упорно (и умело) ведёт против свободного мира, антикоммунизм — по испытанному методу коммунистической пропаганды — отождествляется с такими понятиями, как «реакция», «фашизм», «империализм», «милитаризм», «атомная бомба» и т. п. Планомерно клеймятся «ложь и лицемерие антикомму-

низма», настойчиво вбиваются в головы народных масс следующие или аналогичные им категорические утверждения :

Антикоммунизм — это « главное оружие » мирового капитализма в его психологической войне против « социалистического лагеря ». Антикоммунизм — это постоянная угроза новой мировой и почти уже неотвратимой атомной войны. Антикоммунизм — это раздутые военные бюджеты у всех стран мира. Антикоммунизм — это заострение опасности и угрозы фашизма. Антикоммунизм — это страшный вред мировому хозяйству и огромная помеха развитию международной торговли. Антикоммунизм — это непрерывное нарушение социальных прав и поругание свободы « трудящихся ». Антикоммунизм — это особая разновидность « буржуазной лже-идеологии », которая служит « оружием обмана и смущения народных масс ». Антикоммунизм — это « сосредоточение всех сил реакции » против всего « передового », « прогрессивного ». Антикоммунизм — это тщетная попытка изобразить империализм « свободным миром », тогда как он — « мир эксплуатации, несправедливости, пренебрежения человеческим достоинством и национальной честью », « мир обскурантизма и политической реакции », мир кровавого угнетения « трудящихся »... Антикоммунизм — это « зловерное орудие борьбы » в руках « продажных агентов монопольного капитализма ».

Но основным тезисом коммунистических выпадов против антикоммунизма неизменно остается утверждение, что антикоммунизм угрожает международному миру, подрывает « политику ослабления напряжённости » между народами Востока и Запада, вызывает всё новые и новые войны, неуклонно ведя человечество к « геенне огненной » нуклеарного самоистребления.

Как ни малоубедительны все приведенные аргументы коммунистической и про-коммунистической пропаганды, одно нужно сказать : повторенные бесконечное число раз, они в конце концов оказались *эффективными*. С точки зрения рядового европейца или американца, не коммунизм, а *антикоммунизм утратил всякую убедительность*, « изжил » самого себя, « устарел » и потерял ощущение живой действительности. Речь идёт уже не о духовном убожестве мирового коммунистического движения, а о мнимом « кризисе антикоммунизма ». Любопытнее всего, что об этом « глубоком и остром кризисе » твердят и кричат прежде всего *не-коммунисты*. В целом ряде случаев было бы не только неуместно, но просто неверно предполагать, что начавшийся « поход трудящихся масс », руководимых « передовой академической молодежью », против антикоммунизма исходит из Москвы, Пекина, Гаваны или Белграда. Но что он

— прямо или косвенно — *направляется* тем или иным левомарксистским — « социалистическим » или « коммунистическим » — руководством, — в этом сомневаться не приходится.

Коммунистическая — или про-коммунистическая — пропаганда тщательно регистрирует все признаки и проявления « анти-антикоммунизма », классифицирует их по течениям и группировкам, снабжает их « информационным » материалом и аргументами, подкрепляющими тот или иной тезис « анти-антикоммунизма ». Среди этих течений и группировок следует особенно выделить :

социалистов (марксистов и не-марксистов),
либералов космополитического толка,
нонконформистов (в особенности — интеллигентов),
пацифистов всех оттенков,
христиан самых разных вероисповеданий.

Целые группы, а нередко и партии *социалистов марксистского толка* страдают при этом в большинстве случаев, по-видимому неизлечимой, навязчивой идеей — *верой* в то, что « общественный идеал » марксистско-ленинского коммунизма, его « социальная » программа и прежде всего его идеология, в основе и сущности своей тождественны с соответствующими началами *демократического социализма*. Расходятся они лишь в тактике и методах осуществления этих идей и идеалов, так что нередко между ними создаются принципиальные противоречия, *кажущиеся* непреодолимыми.

В самом деле : начиная примерно с 1956 года, преобладающее большинство социалистов-марксистов в странах свободного мира находилось, а частично и теперь ещё находится — несмотря на 21 августа 1968 г. — под гипнозом теории *эволюционного реформаторского коммунизма*, именуемого для удобства просто « титоизмом ». В результате это породило одну из самых опасных иллюзий наших дней : *социал-демократы*, как марксисты, так и не-марксисты, вдруг поверили, что коммунизм, пусть медленно и шаг за шагом, но *отступает*, *отходя на позиции демократического социализма*. А параллельно этому « процессу эволюции » коммунизма якобы происходит и другой, соответствующий ему процесс развития — процесс вынужденного и далеко не безболезненного превращения « капиталистического » государственного, общественного и экономического порядка в « первоначально социальную, а затем уже и *социалистическую демократию* ».

До наступления такого « общего и тотального замирения », охватывающего более или менее весь земной шар, *не-коммунистические социалисты* (как марксисты, так и немарксисты) стараются не отождествляться с « капиталистической » обществен-

ной и хозяйственной системой, против которой направлен удар коммунизма. Хотя они — притом в большинстве случаев честно и искренно — отвергают *практику* коммунистической диктатуры, но многие из них затевают теоретические споры с коммунистическим *учением*. «Общественный идеал» коммунизма и его *антикапитализм* они приемлют всецело, а *безбожной и бесчеловечной сущности марксистско-ленинского коммунизма* не желают ни видеть, ни знать.

Признавая необходимость и ценность антикапитализма, они одобряют и оправдывают его — по меньшей мере, на практике. Но *антикоммунизм отвергается ими с каким-то тупым остервенением*. В последнее время всё чаще и чаще приходится читать и слышать, что *антикоммунисты, мол, борются против марксизма совсем не потому, что он проповедует идеологию безбожия, а только потому, что он якобы «стремится к социальному прогрессу»*... Выдвигая такое обоснование, кое кто из социалистов пытается пройти мимо *существа* коммунизма, «смазать» чёткие контуры проблемы. Ибо по сути дела не важно, борются ли девяносто девять антикоммунистов из ста против коммунизма лишь потому, что он якобы стремится к «социальному прогрессу». Единственно и исключительно важно одно: осознал ли или не осознал каждый сотый из них, что необходимо бороться прежде всего против безбожной идеологии коммунизма. Если да, то всё остальное «приложится», как говорится в Евангелии.

Но есть и еще одна подробность, заслуживающая внимания: «анти-антикоммунистов» интересует более всего тот антикоммунизм, который заставляет коммунизм принимать бой в области *духа*, на духовном поле брани. О, этот вид антикоммунизма нужно не только преодолеть, разбить и уничтожить; его необходимо *искоренить!* Ибо он разрушает социалистическую мечту об умиротворении всего человечества на основе восстановления единства *социалистическо-коммунистического Интернационала*, — так же, как он искажает и «пятнает» светлый образ «просвещенного коммунизма»...

Есть либералы и «либералы». Либералы в Швейцарии, например, в большинстве своем *антикоммунисты*. Для них свобода, права и достоинство человеческой личности, то-есть ценности, попираемые, нарушаемые и разрушаемые как-раз коммунизмом, первичны и безусловны. И, слава Богу, таких либералов еще немало на свете — как в старой Европе, так и в Америке. Но, к глубокому сожалению, есть и иные «либералы». Хотя они и мнят себя гордо «реальными политиками», но о подлинных политических *реальностях* не имеют ни малей-

шего представления. И совсем уже скверно, когда многие из таких «реальных политиков» начинают страдать так называемым *политическим дальтонизмом*. Они способны видеть и различать только четыре основных цвета: черный, коричневый, нежно-розовый и серый. Черный цвет означает для них «обскурантизм», политический консерватизм или ретроградный клерикализм. Коричневый цвет — это символ «гитлеризма», «нацизма» и вообще «фашизма» самой низкой пробы. Нежно-розовый цвет сохраняется для «передовых» капиталистов и продельвающих стадию «либерализации» коммунистов-реформаторов, а также для обмена товарами и «культурными ценностями» между обоими партнёрами. Поскольку же политические дальтони́сты не в состоянии воспринять никакой белизны — особенно, в религиозно-нравственной сфере, то и чистота их собственных либеральных риз оказывается весьма сомнительной, приобретает грязно-серый оттенок, заменяющий для политического дальтониста недоступный его восприятию белый цвет.

Всё кроваво-красное представляется этим псевдо-либералам в нежно-розовых тонах, особенно же, когда речь идёт о торговых отношениях с коммунистическим «Востоком». Естественно, что подобные псевдо-либералы горячо ратуют за «мирное сосуществование» международного капитала с международным коммунизмом. И разве можно обращать тогда внимание на всякого рода «мелочи», производящие в своей совокупности невообразимый сумбур понятий в головах этих псевдо-либералов, — особенно, когда дело доходит до такой пустяковой приставки, как какое-то там «*анти*»? И в результате получается, что такие понятия, как *антиклерикализм*, *антирасизм* или *антифашизм*, пользуются почётом и уважением. Зато *антикоммунизм* отвергается категорически — как нечто «реакционное», «тупое», «косное», «отсталое», чуть ли даже не «антикварное». В специальной технической литературе Запада, в связи с несомненными высокими достижениями *российской* космонавтики, можно было подчас натолкнуться и на такое утверждение: только коммунизм, видите ли, сделал возможным завершение технической эры в истории человечества... Следовательно, антикоммунизм — это тщетная и нелепая попытка задержать величественную поступь Истории. И так далее, и тому подобное.

Что же касается так называемых *нонконформистов*, то их установка проста и ясна: антикоммунизм «ни к чему не ведёт», он всегда видит перед собой противника или даже врага, уже тем самым он неизменно зависит от этого противника. Антикоммунизм действует так, как если бы на свете был

только один и притом единый коммунизм. В действительности же — утверждают неконформисты — понятие мирового коммунизма давным давно стало словесной *фикцией*, лишённой смысла и реального содержания. Если уж говорить о коммунизме, то необходимо иметь в виду все его формы в отдельности, а не сражаться по-донкихотски с ветряными мельницами туманного и призрачного коммунизма. Коммунистическая идеология утратила в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, включая сюда и Россию, всякую силу и влияние. Решают политику «Восточного блока» *прагматики*... Конечно, было бы наивно ожидать, чтобы они отреклись от всех своих коммунистических догматов. Но «диалог», сговор и «честный компромис» с ними вполне мыслимы и практически осуществимы. Тут неконформисты начинают (непрерывно!) говорить о «шансах, не использованных в прошлом».

Что можно возразить неконформистам? Для них чаемое уже давно стало сущим, и убедить их в противном едва ли возможно. Если политику восточно-европейских стран Советского блока определяют действительно *прагматики* (допустим теоретически на миг, что это так) и если действительно возможен честный сговор и компромис на основе «мирного сосуществования» между свободным миром и мировым коммунизмом (или одним из многих «коммунизмов»), то остаётся только выждать, *во что всё это выльется уже в самом ближайшем будущем*. Поскольку, вопреки утверждениям неконформистов, именно *мировой коммунизм* продолжает быть решающей политической реальностью наших дней, и поскольку политику Советского Союза и стран-участниц Варшавского договора определяют *как-раз теперь* не прагматики, а правоверные коммунистические *догматики*, — то, по всей вероятности, ожидаемый «компромис между Западом и Востоком», на который возлагаются сейчас особенно большие надежды, будет выглядеть несколько иначе, чем господа неконформисты его себе представляют.

Выдвигаемые *нейтралистами* и *пацифистами* тезисы против антикоммунизма, которому они в последнее время любят придавать эпитет «воинствующий», формулируются довольно коротко, чётко и ясно, но, как и полагается, совершенно *бездоказательно* :

Антикоммунизм якобы представляет собой «перманентную угрозу для международного мира», планомерное и целенаправленное «разжигание войны»; он способствует продолжению «холодной» войны, выиграть которую у него нет, однако, никаких шансов. Противники антикоммунизма из рядов нейтралистов и пацифистов упорно усматривают при этом

именно в коммунизме фактор сохранения мира и ослабления международной напряжённости в области мировой политики. Они уже заранее отвергают каждого, кто видит в коммунизме идеологического, экономического, политического, военного или социального противника, не говоря уже — смертельного врага. Пацифисты и нейтраллисты непоколебимо убеждены в том, что ни мировой коммунизм, ни отдельные национальные разновидности коммунизма не повинны в том, что до сих пор не удалось установить между странами и народами земного шара « тишь да гладь да Божью благодать ». Вся вина за это возлагается на... *антикоммунизм*.

Повторяю : коммунизм и есть, строго говоря, заострение того кризиса духа, жизни, веры и идеи, который переживается в данный момент и в первую очередь *христианским* человечеством, духовной сферой христианской культуры или христианских культур. В этом смысле, борьба с безбожным и бесчеловечным коммунизмом есть борьба с Антихристом.

Конечно, в духовной и душевной атмосфере нашего апокалиптического времени совсем не легко говорить как-раз с христианами разных вероисповеданий о течении или даже движении, которое, будучи прежде всего *антихристианским*, предпочитает выступать почти исключительно в форме тщательно подготовленной и умело проводимой кампании против *антикоммунизма*.

Несколько странно, чтобы не сказать парадоксально, сводить воедино, систематически основные тезисы подобного *христианского « анти-антикоммунизма »*. В следующей своей статье я попытаюсь связать его с вытекающими из него же и параллельными ему явлениями систематического *нравственного* разложения общества, в особенности молодёжи, с новым для нашего времени явлением *порнокрапии*, грозящей сменить демократию, с проникновением яда духовного и плотского растления в круги, которые раньше, казалось бы, были иммунными в этом отношении. Пока же ограничусь перечислением основных тезисов « христианского » « анти-антикоммунизма » :

1. — Вполне мыслимо (утверждают христианские анти-антикоммунисты), что в рамках исторического развития христианство и коммунизм взаимно « восполняют » друг друга. Поэтому важно « исследовать » и выдвигать на первый план не то, что разделяет, а то, что объединяет оба этих великих феномена в истории человечества.

2. — Вполне возможно, что в своих духовных корнях коммунизм образует в конечном итоге « мирскую форму чаяния Царства Божия »; поэтому не пристало истинному христиани-

ну относиться к коммунизму враждебно. В повседневной практике это значит, что под знаком « любви к ближнему » отношение христианства к коммунизму должно быть *по меньшей мере нейтральным*.

3. — Даже и выдвигая на первый план материалистическую и атеистическую сущность коммунизма, считают необходимым придти к тому положению, что капитализм и коммунизм в равной мере далеки от Бога. Капитализм оказался полностью несостоятельным. Коммунизм же, напротив, стремится принести счастье народным массам, добившись в этом отношении « существенных успехов » (?). Всякая революция требует жертв. Коммунистическая революция оказалась до сих пор величайшей революцией в истории человечества. Таким образом, вполне мыслимо, что капитализм и коммунизм однажды « сольются в синтезе Добра », следствием чего могло бы быть сближение между ними. *Пока на свете существует активный материалистический капитализм, нельзя ослаблять коммунизм посредством антикоммунизма.*

4. — Внутри католической и православной Церкви « осознали », что в наше время противостоит Церкви не Государство, как в былые века, а отдельная человеческая Личность и Общество. Церковь не должна быть сторонницей той или иной формы государства и правления. Церковь « должна » дать понять коммунизму, что она не занимается никакой политикой, но *хочет мира*. Ибо тогда « не исключена возможность », что коммунизм, со своей стороны, откажется от агрессивного и воинствующего атеизма (?).

В так называемой « лево-католической », в протестантской и отчасти даже в православной « общественности » в последнее время особенно подчеркивается, что времена « крестовых походов » прошли окончательно и безвозвратно, « антикоммунизм » же, к сожалению, — пережиток такой « недоброй памяти психологии крестовых походов ». *Только преодолев антикоммунизм, можно будет увидеть всё хорошее в коммунизме*. Кто, « как христианин », хочет бороться против ненависти и злобы в нашем мире, тот должен прежде всего бороться против « *антикоммунистических идей крестовых походов* ».

Можно было бы процитировать немало католических и протестантских богословов, выступающих в защиту приведённых тезисов « христианского анти-антикоммунизма ». По утверждению Карла Барта, антикоммунизм — значительно большее зло, чем сам коммунизм. Думаю, что тут не надо быть ни учёным богословом, ни религиозным философом в обычном представлении этого понятия. Достаточно быть верующим христианином и... здравомыслящим человеком. Тогда — дума-

ется мне — довольно быстро обнаружится, что весь искусственно раздутый спор вокруг «антикоммунизма» основан на роковом недоразумении. Как христианин, я не могу быть за зло, я должен быть *против* него. Безбожный и бесчеловечный коммунизм есть воплощение *начала* (принципа) Зла, он — сатанократия. Следовательно, я должен, как христианин, быть *против* коммунизма, то-есть быть *антикоммунистом*. В этом смысле антикоммунизм — не доктрина, не система, даже не идея. Он просто обозначение определённой духовной установки. Антикоммунизм значит только одно : *быть против коммунизма*, без каких либо оговорок и « виляний ». И не с « антикоммунистической », а с *христианской* точки зрения.

Конечно, и отдельные коммунисты — мои враги. Как христианин, я должен *любить* их. Но эта заповедь Господня относится к отдельным людям, а не ко Врагу рода человеческого, не к началу Зла и не к абсолютному Злу. Нет и не может быть христианской заповеди, обязывающей меня *любить Дьявола или... Антихриста...*

И опять мы наталкиваемся на « анти ». Но дело в том, что есть АНТИ под знаком Добра, а есть и под знаком Зла. Антирасизм — это, например, нечто хорошее, чего уже никак нельзя сказать об антисемитизме. Лично я, например, глубоко убежден, что антикоммунизм — порождение доброго начала. А вот Антихрист — это уже воплощение абсолютного Зла.

Сложнее становится, когда начинают оперировать *двойными* приставками вроде « анти-анти ». Но *анти-анти* равносильно *про* (т. е. за). Анти-Антихрист — это Про-христ. А анти-антикоммунизм значит ясно и точно : *про-коммунизм*. К богословию это, правда, имеет мало отношения, но зато к логике и к здравому человеческому смыслу.

Анатолий Михайловский



Жизнь и труды Епископа Иоанна (Ковалевского)

30 января 1970 года в Париже, после краткой болезни, скончался епископ Иоанн, в миру Евграф Евграфович Ковалевский, жизнь и духовное творчество которого настолько самобытны и значительны, что необходимо им посвятить хотя бы несколько страниц в ожидании, что будущие поколения вполне оценят его труды и опишут их с большей полнотой.

Е. Е. Ковалевский родился 26 марта 1905 года в Петербурге, в самом сердце столицы, на углу Екатерининского Канала и Невского, у самой Казанской Площади, где в ту эпоху происходили многие события общественной жизни. Старинный, родовой дом, в бельэтаже которого жил в свое время прадед почившего, министр Е. П. Ковалевский, и где потом помещался Археологический Институт, а в третьем этаже жила его бабушка, был надстроен отцом для своей семьи. В квартире, где по вторникам собирался цвет русского культурного общества, Е. Е. провел свое детство. С самых ранних лет он вошел в церковную жизнь и, благодаря заботам своей няни, которая была глубоко русской и искренно благочестивой женщиной, вошел в литургическую жизнь « Храма на Крови », Воскресенской Церкви, построенной на народные пожертвования на месте убийства имп. Александра II, недалеко от родового дома Ковалевских. Совсем еще маленьким, пятилетним, он был выделен из посещавшей церковь молодежи и местное духовенство всегда ставило его на амвоне, чтобы он мог следить за богослужением. Няня о нем говорила : « Он у нас особенный и должен стоять отдельно ». Исключительное влияние на его воспитание и выработку мировоззрения оказала его мать Инна Владимировна, человек замечательный и по своему всестороннему образованию, и по своему глубоко христианскому отношению к жизни. Начатки своего учения он получил дома в своей высоко-культурной семье, где встречались у его родителей профессора и государственные и общественные деятели, писатели и поэты и многие другие выдающиеся люди этого времени.

В среднюю школу он поступил в 1917 году после революции и учился только краткое время в Петербурге до переезда семьи в Харьков.

Два события из его жизни всё же должны быть отмечены. В начале 1917 года братья Евграф и Максим, обладавшие

оба большим художественным талантом, решили заняться иконописью, но, как во всем, что делал брат Евграф, идея заложенная в это решение была очень самобытна: не просто рисовать иконы, а создать годичный цикл иконок со святыми данных дней. Как раз в тот вторник у родителей был на приеме известный археолог и знаток иконописи академик Федор Иванович Успенский. Он вполне одобрил идею братьев и дал им некоторые ценные указания. Цикл 365 иконок был доведен до конца и этим было положено начало большой иконописной работе братьев. Вторым событием был приезд в Петербург в мае 1918 года Святейшего Патриарха Тихона. Так как наша семья принадлежала к приходу Казанского Собора, то нас трех братьев послали от соборной молодежи на встречу и торжества.

Новый период в жизни брата наступил с переселением в Харьков летом 1918 года. Все три брата, но особенно Евграф, были вовлечены в жизнь Харьковского Покровского Монастыря, где были живы традиции недавно перед тем покинувшего Харьков Митрополита Антония (Храповицкого). Вообще влияние идей владыки Антония и — главное — его глубокого проникновения в красоты православной литургии было очень велико, и до конца жизни у почившего в его комнате на почетном месте был портрет « великого аввы », как его называли его современники. Митрополит Антоний был в близком свойстве с семьей Ковалевских и рекомендовал им своего ученика, вдохновенного литургиста, который потом погиб смертью мученика за веру.

Из жизни при монастыре, в течение 15 месяцев, мне запомнился один очень характерный эпизод. Проходя после службы по монастырскому двору, я увидел толпу монахов и богомольцев, окружавших фонтан и на борту его моего брата произносящего проповедь (ему было тогда четырнадцать лет). Слушали его все с необыкновенным вниманием.

Следующим этапом в церковной работе брата был Симферополь, где мы в конце 1919 и начале 1920 года обслуживали Спасскую церковь, пели и читали за всеми богослужениями. Как в Харькове была встреча со студентом Михаилом Максимо́вичем, будущим Архиепископом Иоанном Шанхайским, тоже учеником Митрополита Антония, так в Крыму наша семья встретила с епископом Севастопольским Вениамином (Федченко); оба впоследствии сыграли значительную роль в жизни брата. Уже в Харькове у братьев возникло желание устройства домашней часовни-молельни и совместных утренних и вечерних « соборных молитв », которые потом стали в центре их работы.

После прибытия во Францию в феврале 1920 г. первая мечта почти сразу осуществилась : на вилле в Больё была устроена молельня-часовня с иконостасом, иконы для которого были почти все написаны братом. Этот иконостас был впоследствии передан нами в церковь Введения во Храм и до сих пор украшает церковь на рю Оливье-де-Серр в Париже. Вторым иконостасом был складной на шелковой материи для лагерей молодежи, который потом долгие годы служил не только в лагерях, но и на съездах РСХДвижения в замке Аржеронн.

Третий иконостас из особой мастики в древнем стиле был сооружен братом для Грузинской церкви на рю Франсуа-Жерар.

После окончания среднего образования брат поступил в Сорбонну и получил там диплом, но уже тогда посвящал большую часть времени церковной работе. Это был период устройства русских колоний в провинции и вместо русских церквей в курортах, построенных до революции, понадобились храмы в рабочих районах, так как прибывавшие по контракту русские сосредоточивались по месту их работы. Брат в качестве певца, чтеца и помощника сопровождал по провинции прот. Гавриила Леончукова (будущего епископа Иоанна Херсонесского, наместника Сергиевского Подворья в Париже), архимандрита Харитона и немного позднее прот. Георгия Спасского. Когда начались занятия в Богословском Институте в Париже в мае 1925 года, брат поступил сразу на первый курс и окончил Институт по первому разряду в 1928 году. В эти годы в Институте читали лекции все выдающиеся богословы и ученые, оказавшиеся за рубежом, и первый выпуск Института получил исключительное наследие. Как вспоминал на днях один из его соучеников, теперь архиепископ, брат был самым молодым, но и самым начитанным в богословских и философских науках. Одновременно с учением он принял близкое участие в организации Братства св. Фотия, которое задалось целью защищать вселенскость Православия. К тем же годам относится устройство первых приходов в Парижском районе. Три из них обслуживались почти целиком братьями (в Кламаре в усадьбе Трубецких, в Медоне и в Сен-Жермен). К этому же времени относится основание первых приходов, в которых богослужение совершалось по-французски, и перевод богослужебных текстов на французский язык. Как в устройстве первого французского православного прихода, так и в работе Комиссии по переводам прот. Н. Сахарова, братья принимали самое близкое участие.

К этой же эпохе относится сперва знакомство, а потом дружба с Жаком и Раисой Маритэн, постоянное участие в их

« кружке » и через него сближение со многими выдающимися католическими и протестантскими мыслителями.

По окончании Института брат пожелал продолжать свою церковную работу и был назначен в Германию обслуживать храм в Баден-Бадене, где настоятельством донныне здравствующий от. Михаил Шефирцы. Это было его первое общение с румынским Православием, так как храм был русско-румынским. Художественное свое « образование » брат получил сперва в Школе Шухаева и Яковлева в Париже, а потом, целиком перейдя на иконопись и фреску, вошел в сношения с зарубежными иконописцами. Из его крупных работ назовем роспись аббатства Лейси недалеко от Бельгийской границы, где он создал цикл фресок на общую тему « Акафиста Божией Матери ». К сожалению, аббатство во время войны сильно пострадало и фрески погибли.

Встреча с Монс. Иринеем Виннартом и его общинами определила дальнейший путь брата. Он решил посвятить себя « французскому православию », вернее, Православию во Франции. После присоединения Монс. Виннарта к Православной Церкви и его кончины, брат встал в главе общин и был посвящен в 1937 году митрополитом Елевферием Литовским в иерейский сан. Одно время он обслуживал небольшой приход в Ницце, но главной задачей он поставил себе восстановление древних православных традиций Запада.

Мобилизованный в первые же дни войны он провел все первые ее месяцы на фронте, на бельгийской границе, был взят в плен при исполнении обязанностей по службе направления войск и попал в лагерь 4. Б. в Саксонии, недалеко от города Мюльберг. За годы плена брат развил совершенно исключительную деятельность. С культурными элементами лагеря были организованы лекции и собрания, своего рода вольный Университет, и, так как брат говорил в совершенстве по-немецки, пленные избрали его своим уполномоченным. До последнего времени, во всей Франции, он встречал своих бывших « опекаемых », которых было двадцать тысяч, и которые сохранили о нем самую светлую память.

Недалеко от французского лагеря был лагерь русских пленных, который по жестокой иронии назывался « Парадиз ». В нем из 50 тысяч человек больше 30-ти тысяч погибло от голода и болезней. Брат вызвался их духовно обслуживать.

Духовная работа среди русских военнопленных была очень трудна, но он нашел среди них много отзывчивых людей, которые помогали ему в его церковной работе. К сожалению, нашлись доносчики и брата предали суду « за пропаганду против Германии ». Его судили, бесконечно допрашивали, но наконец

отпустили, поставив на работу на заводе в Берлине. Из-за постоянных бомбардировок никакой работы не было, а состояние здоровья брата было так подорвано, что его отправили обратно во Францию. Начался новый, длившийся четверть века (1945-70), период его деятельности, который связан с основанием Института Св. Дионисия и устройством Православной Французской Церкви.

Православный Богословский Французский Институт Св. Дионисия Ареопагита, который праздновал этой осенью 25-летие своей работы, завоевал уже себе почетное место в ряду научных центров и к нему обращаются из всех стран по вопросам связанным с Православием на Западе. Три молодых немецких ученых получили в нем докторскую степень, а диссертации на степень Лиценциата богословских наук, соответствующего нашему магистру, многочисленны. Уже в самом начале Институт числил среди своих лекторов таких выдающихся людей, как Ламберт Бодуэн, основатель Литургического Движения во Франции и монастыря Шеветонь в Бельгии. Кроме постоянного состава профессоров, в Институте читают отдельные лекции профессора Университетов и видные представители католической и протестантской науки. Институт за все 25 лет своей работы жил исключительно на те взносы, которые делают студенты и слушатели, и не пользовался никакими субсидиями или ассигновками извне. Еп. Иоанн был его бессменным Ректором и читал каждый год два или три курса лекций. Почетным Ректором и попечителем Института состоял Патриарх Александрийский Христофор.

Если Институт Св. Дионисия был любимым детищем почившего епископа Иоанна, то больше всего времени и сил он уделял многочисленным приходам и общинам, которые он основал во Франции, Швейцарии, Бельгии и Италии. Его забота не ограничивалась управлением и духовным руководством. Все приходы имевшие свои храмы сохраняют его иконописные произведения. Покойный еп. Иоанн был в расцвете своего художественного таланта и за последние годы расписал несколько церквей фресками и снабдил их иконами своего оригинального, но строго православного стиля.

В работе по устройству французских православных приходов он встретил на своем пути много непонимания и даже вражды, но, благодаря другому, такому же удивительному человеку, как он, архиепископу Иоанну Шанхайскому, тоже многими осуждавшемуся при жизни и вполне оцененному только после кончины, дело еп. Иоанна (Ковалевского) было канонически оформлено. В 1964 году архиепископ Иоанн добился от

Синода Епископов в Америке разрешения хиротонисать протоиерея Евграфа в епископский сан. Хиротония была совершена в Сан-Франциско и вторым епископом был при посвящении Феофил (Ионеско), бывший настоятель Румынского храма в Париже и Председатель Общеправославного Комитета по участию в Неделе Молитвы об Единстве. Он в то время заведывал румынскими приходами в Америке.

Последние 6 лет епископ Иоанн расширил свою пастырскую работу и постоянно объезжал свои общины и приходы, деля время между службами и многочисленными лекциями, так как его приглашали в многие страны для участия в церковных встречах.

Исключительно обширная деятельность, постоянные поездки и заботы о каноническом устройстве Французской Православной Церкви сильно пошатнули здоровье еп. Иоанна, уже ранее надломленное годами плена, он не щадил себя, а вместо летнего отдыха посещал православные страны, где за последние два года сослужил с Предстоятелями местных Автокефальных Церквей. Всё же кончина его была для всех неожиданной. Состояние его внутренних органов потребовало операции, которая прошла хорошо, но обнаружила полное истощение организма. Скончался еп. Иоанн от остановки кровообращения вследствие артериосклероза органов, тихо и безболезненно, в Клинике сестер Нотр-Дам-де-Бон-Секур, где в отношении к нему были проявлены исключительное внимание и любовь. Три дня и три ночи в устроенную в одном из павильонов клиники православную часовню шел народ и только тогда для многих стало известным, какой широкой и всеобщей любовью и уважением пользовался почивший.

На его похоронах объединились все, даже те, кто при его жизни были его идейными противниками. Сочувствие было выражено от глав Православных Церквей, от высших католических иерархов и возглавителей Протестантства, от Президента Французской Республики и министров и от разбросанных по всему миру его почитателей и друзей. Исключительный отклик был и со стороны его бывших « опекаемых » французов по лагерям в Германии. Они возложили на гроб большой венок. Цветов было столько, что венки заполнили храм и стояли во дворе церкви св. Иринейя Лионского, где было совершено торжественное отпевание.

Духовное наследство еп. Иоанна (Ковалевского) очень велико, но к сожалению не все его курсы лекций и проповеди были записаны, а они как раз и составляли главную часть его богословской и литургической работы. Писать большие книги он

не имел времени, издал только работы о Западной Литургии и Евхаристическом каноне, но будем надеяться, что записанные его проповеди будут изданы, так как почивший был входновенным проповедником.

П. Ковалевский



ПОЛУЧЕНО ДЛЯ ОТЗЫВА

Наталья Горбаневская. Стихи. Изд. Посев, Франкфурт-М., 1969.

За права человека. От инициативной группы по защите прав человека. Изд. Посев, Франкфурт-М., 1969.

Алла Кторова. Лицо Жар-Птицы. Изд. В. Камкина, Вашингтон, 1969.

Валерий Перелешин. Стихи на веере. Антология китайской классической поэзии. Изд. Посев, Франкфурт-М., 1970.

«Малатеста» Монтерлана

На сцене театра «Комеди Франсэз» показан замечательный спектакль: «Малатеста» Анри де Монтерлана.

Пьеса написана на историческую тему, сквозь которую, как всегда, виден художественный и философский силуэт автора. Поставленная Пьером Дюксом, она прошла ещё через одну призму, что заставляет нас рассмотреть и текст и его просценирование на сцене с трёх сторон: история, литература и театр.

Эпопея семьи Малатеста непосредственно связана с историей Италии, т. к. они заправляли судьбами больших территорий, находящихся на восточном побережье полуострова с основными владениями вокруг Римини и Анконы. Кондотьеры из поколения в поколение, они часто сражались за Папу, иногда против него; то их отлучают от Церкви, после чего та же Церковь награждает их высочайшими знаками отличия; от поры до времени они состоят на службе у Венеции, порою ссорясь с нею...

Знаменитая трагедия Франчески да Римини связана с семьёй Малатесты: Франческа обманым образом была выдана замуж за безобразного Джиованни Малатеста, изменила ему с его братом Паоло и была заколота мужем вместе с любовником. Данте в своей «Божественной Комедии» встречает злополучную пару в аду. Авантюра Франчески Малатеста отразилась в различных областях искусства: в живописи (Энгр), в литературе (Габриэль д'Аннунцио) и в музыке (Амбруаз Тома).

Герой пьесы Монтерлана, Сигизмунд Малатеста (1417-1468) был в родственных связях с самыми знаменитыми семьями Италии, как напр. Сфорца, д'Эсте и др. Он отличался исключительные военным талантом, сооружал крепости, был видным меценатом, покровительствовавшим литераторам, философам, поэтам, художникам и архитекторам. В Римини осталась знаменитая церковь «Малатеста», построенная по его инициативе зодчим Альберти, больше похожая на языческий храм, посвященный его любовнице, впоследствии жене, Изотте. При этом последнем Малатесте, Римини процветал, после же его смерти род завял, его власть над Римини кончилась и город потерял своё значение.

Такова история фактическая. Всё же остальное находится в области предположений, сомнительных сказаний, более или менее пристрастных записей и т. п.

Перипетии личной жизни Сигизмунда Малатесты, его характер, семейные конфликты, отношения с артистическим ок-

ружением дают обильную пищу для фантазии поэтов, писателей «малой истории» и драматургов.

Монтерлан, ищущий своих героев, главным образом, в древности или в Средних веках, использовал для драмы не только твёрдые данные, но и всевозможные хроники и характеристики, частью оставленные Папой Пием II-м, самым ожесточённым врагом его героя. Автор, в своём предисловии, подвергает сомнению многие события и действия, приписываемые этому последнему, и признаётся, что выбрал те черты, которые наиболее подходили к теме задуманной драмы. Но Монтерлан создал атмосферу, которая, по его мнению, несомненно господствовала в эту эпоху итальянского Возрождения, где варварство и неуёмная жестокость великолепно сожигательствовали с поисками прекрасного, с тонкой поэзией и философией; преданность догматам католической Церкви ничуть не мешала преклонению перед языческими легендами и даже верованиями. Монтерлан утверждает (и мы это находим в тексте самой пьесы), что видные люди эпохи искали оправдание многим своим действиям в поведении древних греческих и римских героев. Насколько, всё же, нужно относиться с осторожностью к событиям, описываемым в пьесе, мы можем судить хотя бы по концу последнего действия, т. е. по сцене отравления Малатесты его историографом Порчелио. Монтерлан в своих заметках не скрывает, что его герой умер спокойно в кровати, истощённый последними походами.

Прежде, чем подвергнуть анализу персонажи, которые были предложены артистам «Комеди Франсэз», считаю необходимым кратко рассказать сюжет пьесы.

Сигизмунд Малатеста, владетель Римини, окружённый литераторами и историографами, узнаёт от своего зятя, приехавшего из Рима от Папы, что ему, Малатесте, предлагают во владение два других города, но при условии освобождения Римини от опеки Венецианцев, и советуют принять услуги папских войск.

Не без основания Малатеста видит в этом предложении папскую хитрость для завладения Римини и приходит в бешенство, приводящее к желанию убийства Папы.

Он пытается уговорить своего приближенного-учёного, Порчелио, принять на себя «почтенную» миссию убийства Папы, но хитрый царедворец убеждает Малатесту самому совершить этот мужественный акт, способствующий возвышению его в ранг древних героев. Несмотря на мольбы любящей женщины, Изотты, Малатеста с двумя придворными отправляется в Рим и просит аудиенции у Папы Павла II. Поведение Малатесты настолько подозрительно, что все меры приняты для его

разлучения с его спутниками и самый приём происходит в обстановке, исключающей возможность покушения. Малатеста, в полном забвении раздражения, почти признаётся в своих намерениях и под влиянием очень ловкого папского маневра не только бросает свой кинжал, но и, попав под полное влияние Павла II, просит принять его исповедь, от чего Папа отказывается.

Захваченный покаянием Малатеста чувствует себя даже счастливым вновь предложить своё военное искусство к услугам Святого Престола. Пользуясь неустойчивостью его характера и доверчивостью, Папа задерживает его при своём дворе, где герой оказывается под почётным арестом. Под влиянием ходатайств Изотты, жены Малатесты, Папа отпускает своего пленника на два с половиной месяца обратно в Римини. Слишком доверяясь своему биографу, Порчелио, увлечшись совместным составлением своей истории, Малатеста рассказывает о яде спрятанном в томе Плутарха. Давно затаивший ненависть к своему благодетелю Порчелио всыпает в бокал яд, отравляет Малатесту и перед его угасающим взглядом сжигает рукописи, посредством которых кондотьер надеялся войти в бесмертие.

Ненависть Порчелио вызвана долголетней обязанностью выказывать благодарность за спасение его жизни Малатестой.

Схематично изложенное содержание не даёт никакого представления о характерах действующих лиц, что составляет основную тему пьесы, но позволяет по этой канве выявить мысли автора. Но об этом несколько позже.

В 1950 году пьеса была поставлена труппой Жан-Луи Барро в театре Мариньи. К сожалению, мне не пришлось видеть тогда этот спектакль, но известно, что он вызвал огромную полемику в печати, выходящую далеко за пределы театральной критики. Монтерлан ответил целой отповедью, вскрывая свои истинные намерения и процесс работы над пьесой. Пользуясь, отчасти, этим материалом, поговорим о самом Малатесте. Переходы от воинственности к чувствительности и даже слезливости при столкновении с дипломатией Папы, кажутся совершенно неправдоподобными для характера средневекового кондотьера, человека, покрытого сталью, обладателя железной воли и волчьего характера.

Монтерлан утверждает, что эти контрасты в одном человеке, полководце, поэте, учёном, меценате, убийце, неустанном охотнике за женщинами, одновременно глубоко любящем свою жену и в то же время нервно-чувствительном, — что все эти черты почерпнуты в хрониках той эпохи.

Там же автор нашёл, что Малатеста был отлучён от цер-

кви, через два года был благословляем ею и ещё через два года получил знаки наивысшего отличия от предыдущего Папы, Пия II. Всё это придаёт правдоподобие действиям и идеям этого язычника, умирающего в полном примирении с христианской догмой.

Сам Папа, Пий II, отчаянный враг Малатесты, сделал значительный взнос в описание его чудачеств, странностей, преступлений. Папа обладал несомненным литературным талантом, но, принимая во внимание его возможную пристрастность, этот источник сведений о Сигизмунде Малатесте не может быть принят без известной осторожности. (Кроме того, на нашем опыте мы знаем, как пишется современная нам история, со всеми искажениями, вносимыми приверженцами некоторых политических партий).

Монтерлан прямо говорит, что наши современники притворяются, делают вид, что не понимают, не верят в возможность характера Малатесты, что критики его пьесы характеризуют героя как нелепого фразёра, комедианта, малоинтересный тип и, тем самым, метят не в Малатесту, а в автора пьесы. Учитывая далёкую эпоху итальянского «Ренессанса» и принимая во внимание национальные черты героя, Монтерлан доказывает правдоподобность его характера.

В огне полемики автор ссылается на швейцарского критика, Леона Саври, который попал, по его мнению, в самую точку, объясняя непринятие пьесы французской критикой. Саври говорит, что не столько нынешняя Франция слишком удалена от событий во времени, сколько не понимает в силу своей сухости, рассудительности, обывательщины и боязни осуждения. «Француз, говорит Монтерлан, — видит в Малатесте две черты характера, которые ему внушают ужас: естественность и подлинность».

В одной из критик автору этих строк пришлось прочесть, что Малатеста полон презрения к человеку, и это больше свойственно автору пьесы, чем её герою. Там же дальше сказано: «Пьеса выводит на сцену Папу, Павла II, и его кардиналов. Вопреки советам некоего доминиканца, в пьесе есть нечто стесняющее в изображении этих персонажей». Несомненно, что для многих католиков сцены в Ватикане не могут вызвать особого восхищения.

Я позволю себе несколько цитат Порчелио: «Как человек рассудительный, я не верю в Бога. Но как крещённый христианин я обязан в него верить». По поводу трибунала Святого Престола, осудившего Малатесту, обращаясь к кардиналу Марканова, он говорит: «Трибунал правосудия! Нет! Трибунал несправедливости, легкомыслия, ненависти, мести. О я тебя уз-

наю, Сатана, красный как пламя твоего ада ». В другом месте Малатеста шутит : « Я нахожу, что отлучение от Церкви есть нечто скорее забавное ». В разговоре с Изоттой Папа : « Конечно, государством нельзя управлять лишь с чётками в руках. Папа находится одновременно и в небе и на земле и ему приходится беспрерывно порхать от одного к другому. Бог далеко, сударыня, а люди близко, ужасно близко и клеются к нам как демоны соблазна... ». Да и весь диалог Папы с Изоттой полон смелых намёков. Мне лично кажется, что нападения на пьесу имеют ещё другой и более актуальный характер; цитирую слова Малатесты : « Если бы только я мог немного переменить моих современников ». Платина говорит : « Папа ненавидит в Академии не только литераторов, расу, которой он не выносит, но дух свободы, который неизменно поворачивается против Церкви ». Но ещё лучше звучат слова в устах самого Папы : « Я окружён накипью литераторов, которые хотят думать сами и оттого требовательны и опасны... » Вероятно, эти слова некоторым показались чересчур актуальными, в применении к некоей новой религии и её борьбе с литераторами и мыслителями.

В этой пьесе, как и во многих других, Монтерлан не щадит наших современников, скрывая их под масками древних или средневековых героев, многие чувствуют себя уязвлёнными, найдя в тех или иных чертах нечто своё, и это раздражает. Разве может понравиться « гуманистам », точнее, выдающим себя за таковых, следующий диалог : Малатеста : « Я хотел бы знать, в какой книге самый великий гуманист Италии нашёл спокойствие, в тот момент, когда ему угрожала тюрьма ». — Платина : « Самый великий гуманист Италии нашёл спокойствие зайдя в публичный дом... Арестовывают пока других академиков, меня хранят на закуску ». Не буду больше злоупотреблять цитатами.

Хотя пьеса носит имя одного из её героев, но нужно вслушаться в реплики каждого из них и тогда вдруг выясняется, что персонаж Изотты так же важен и интересен, как и самого Малатесты. Доминирует же над всеми ими Папа Павел II. Его диалог с женой Малатесты заслуживает особого внимания, в особенности, в исполнении столь замечательного артиста как Луи Сенье.

Если даже не слушать текста и только наблюдать за выражением глаз, игрой каждого мускула лица, легким движением руки, чуть заметным поворотом туловища — перед зрителем предстанет опытнейший правитель, хитрейший дипломат, знающий цену лести, играющий словами и фразами, скрывающими настоящие мысли и намерения.

Когда он произносит эти слова, то в каждом из них, чтобы не сказать — в ударении на каждом слоге, имеется смысл, если не тотчас понятый, то чреватый решениями. Этот полный, не очень подвижной человек производит впечатление ловкости, справляющейся с его преклонным возрастом. Там где он не может проявить власть светскую, он немедленно пускает в ход свой сан главы Церкви, что, в те века, было иногда страшнее физического насилия. Сенье, в каждом своём появлении, производит впечатление мурлыкающего кота, только и ждущего момента, чтобы выпустить когти и, схватив жертву, уже не выпустить её. Ласковый взгляд и улыбка сменяются с быстротой молнии хищным и жестоким выражением глаз.

Встретив на своём пути такого противника, Малатеста должен потерпеть поражение. Он слишком прямолинеен в своих намерениях. Он всегда под влиянием страсти, любовной или кровожадной, полон настолько жаждой славы, власти, мести, что ни на одну минуту не умеет скрыть своих намерений. В проявлении этих качеств примитивной, не знающей удержу натуры, Жорж Аминель показался мне в полном понимании и ответственном изображении персонажа. Жестокий хищник, оставивший позади себя море крови и груды трупов, не привыкший ни к какому сопротивлению, вдруг находит своего покорителя, в лице этого Папы. Переход от свирепого рычания зверя, готового к смертельному прыжку, к покорности и даже слезливости, проделан артистом с необычайной логикой, тонкостью понимания психологии персонажа. Хищник наткнулся на опытного и властного укротителя.

Чрезвычайно интересна, как будто прямолинейна, но на самом деле извилиста линия диалога с Папой Изотты да Римини, в изображении Клод Винтер.

Любящая женщина прибыла к Святейшему Престолу с твёрдым намерением спасти своего буйного мужа, сознавая всю трудность своей миссии. Её словесная дуэль с таким противником, как Папа Павел II, мне показалась и совершенством стиля драматурга, и необычайным искусством артистов. Изотта знает, что перехитрить Папу невозможно, до и пытаться ни к чему. Своей прямой просьбой, мольбой, больше похожей на атаку львицы, она заставляет Папу тоже перейти к прямому действию, ибо он чувствует достойного противника. И победа остаётся за женщиной, за преданностью, за любовью. Шутя, Папа говорит, что Изотта выпустила все когти, но за этой шуткой скрывается некоторое опасение, т. к. нападающей стороной всё пущено в ход, в особенности откровенность, к которой Папа не привык. Это заставляет его начать отступление и, наконец, сдаться перед настойчивостью мужественной и умнейшей жен-

щины. Роль Изотты не каждой актрисе по плечу и можем лишь поздравить артистку, вошедшую в роль, которая не была сделана по её мерке.

Марк Деран нам показался совершенно замечательным в роли Порчелио Пандоне. Необычайное спокойствие, выдержанность, за которой чувствуется неутолимая ненависть, требующая мести за многолетнее унижение, надуманное или действительное, унижение умного, высокообразованного человека перед примитивной властью солдата, требующего беспрерывно фимиама; все оттенки характера, переживаний, — всё мы поняли в игре артиста. При этом ни одного резкого жеста, ни одной сильной гримасы, ни поднятия тона, что производит впечатление неизбежности, как неизбежен рок. Замечателен Мишель Эчевери в параллельной роли Базинио Пармензе, ученого литератора, необходимого для фона, для диалога с Порчелио.

« Комеди Франсэз » обладает неограниченными возможностями для реализации большого спектакля и посему она позволила режиссёру мобилизовать большое количество участников спектакля, всех своих компаньонов и питомцев, что, при опытном руководстве Пьера Дюкса, придало спектаклю необычайную цельность, последовательность и законченность. Ни одной минуты зритель не чувствует себя вне обстановки, вне действия или диалога: он втянут в игру, сам того не замечая, и испытывает от этого удовольствие.

Роскошь обстановки, костюмов, естественность движения групп и индивидуумов дополняют совершенство спектакля. Редко приходится, выйдя из театра, почувствовать, что слышал превосходную речь, полную глубокого смысла и преподнесённую в столь совершенной форме.

Л. Доминик

P. S — Наш русский читатель может задать себе вопрос, почему в столь национальном органе печати, как « Возрождение », критик обстоятельно остановился как бы на чужой теме? Итальянские персонажи, средние века, французский театр? Заранее отвечаю. Не имея возможности привести текст пьесы и сфотографировать её оформление, не могу передать полученное впечатление актуальности этого спектакля не только для местного зрителя, но и для нас. Сквозь средневековые одежды, чужие имена и давнишние события просвечивает нечто вечное и столь нам знакомое. « Поднявший меч от меча и погибнет »! Посмотрите сами и вы поймёте.

К Н И Г И

ФРАНЦУЗСКИЕ ГОДЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

Недавно появившаяся книга на французском языке г-на Шартон, названная им — Французские годы Сергея Рахманинова *) — в высшей степени интересна своим новым подходом к композитору и пианисту как к человеку.

Шартон приводит слова г-жи Жуковской, рожд. Крейцер, которая в ее воспоминаниях о своем учителе и друге Сергее Рахманинове говорит : — много пишут о Рахманинове как о несравненном пианисте, создателе грандиозных творений, необыкновенном дирижере, но не хватает в этих книгах его показа как человека.

Г-н Шартон, обратив на это особенное внимание, пишет : почему книга о Рахманинове и что было о нем сказано во Франции? и указав на единственную книгу на французском языке, переведенную с английского, написанную о Рахманинове В. Серовым и, в данное время, вероятно, распроданную, Шартон добавляет, что автор ее, излагая полную биографию музыканта, не мог в то время писать о периоде пребывания Рахманинова во Франции. И Шартон восклицает — если наша скромная попытка достигнет хотя бы частичного результата восполнения этого пробела, а также будет способствовать оживлению перед глазами читателя привлекательного образа Человека, как и превосходного Артиста, мы почувствуем, что наша работа для этой книги, памяти знаменитого музыканта, не пропала даром.

Автор книги г-н Шартон очень внимательно и, хочется сказать, с искренним увлечением и преклонением, изучил характерные особенности душевного склада Рахманинова. Он пишет — когда Рахманинова однажды встретишь, его больше нельзя забыть, а если большинство наших современников не встречались с Рахманиновым, то духовная встреча с ним всегда возможна через его музыку. В ней он целиком себя открывает. Не ответил ли сам Рахманинов журналистам — что хотите вы знать обо мне? Я ничего не могу сказать интересного. Всё в моей музыке. Слушайте ее, в ней вы найдете меня.

Г-н Шартон, прежде чем написать эту книгу, обратился к великому множеству музыкантов, писателей, журналистов, артистов французских и др. иностранцев и главным образом к русским (фамилии всех перечислены) за их личными сужде-

*) S. M. Charton. Les années françaises de Serge Rachmaninoff. Ed. de la « Revue Moderne ».

ниями и впечатлениями о жизни и творчестве Рахманинова. Благодаря свидетельству этих лиц, автор книги дал яркое освещение жизни, особенно лет проведенных во Франции, и многое сказал о стимулах творчества композитора.

Автор приводит много маленьких эпизодов из жизни Рахманинова, характеризующих его необыкновенную музыкальную память. Так, например, однажды, перед званым обедом, г-жа Зернова, показав ему композицию шестилетнего композитора, переписанную его отцом, спросила — стоит ли она внимания? Рахманинов, бегло взглянув, сказал — не плохо, пусть продолжает. Г-жа Зернова, не удовлетворенная его ответом, после обеда и долгих разговоров в салоне, опять обратилась к нему с вопросом — говорили ли вы серьезно, ведь вы только мельком взглянули на тетрадь? — У вас скверное мнение о моих музыкальных способностях, Софья Михайловна, ответил он, но чтобы доказать вам, что я понимаю кое-что в музыке, я проиграю вам сочинение молодого композитора. И Рахманинов, сев за пианино, сыграл наизусть то, на что скользнул взглядом три часа назад. — Теперь вы верите мне? сказал он улыбаясь.

Автор книги рассказывает о молодости музыканта, о его первых концертах в 1907 году, в Париже. Говорит о парижском артистическом климате. Вспоминает Дягилева, говорит о встречах со Скрябиным, со Стравинским, с Римским-Корсаковым. Пишет о музыкальных мемуарах Рахманинова. О его жизни в Канн, в Грасс, в Валэ-де-Шеврэз и в других местах Франции, где он бывал и жил. Пишет о его женитьбе на Н. Сатиной, о его дочери Татьяне и о всей семье артиста.

Упоминает о его дружбе с Шаляпиным, с Метнером и многими другими. Пишет об отъезде в Америку.

Из книги мы видим, что Рахманинов был глубоко верующим человеком, что видно, например, из разговора его с каким-то журналистом, спросившим — послужило ли какое-либо событие для выявления вашего призвания, или его утвердилось? Нет, я от Бога получил этот подарок. Без него я ничто, ответил он.

Шартон пишет — т. к. Франция, в какой-то мере, вдохновляла Рахманинова, то и нам дозволено, как он этого хотел, его понять и его любить.

Книга « Французские годы Сергея Рахманинова » написанная S. M. Charton в высшей степени интересно изложена, содержит много неожиданно ценного для понимания, во всей полноте, сложной натуры и для постижения глубокого творчества композитора Рахманинова.

А. Горская

Памяти Семёна Соломоновича Юшкевича

В одном парижском журнале однажды, на одной из страниц, в уголку было помещено маленькое скромное объявление в траурной рамке, грустно пахнущее ладаном и печально звучащее, как «Со святыми упокой».

— «Редакция такого-то журнала с глубоким прискорбием извещает о внезапной кончине сотрудника журнала, писателя Семёна Соломоновича Юшкевича, последовавшей в Париже 12-го февраля. Похороны состоятся 15-го февраля на кладбище Вагнейх Parisien».

А какого года, в объявлении не было упомянуто. Случайно попавшийся под руку экземпляр журнала был без обложки. И как я его ни вертел, ни перелистывал, ничего не выяснилось.

— «Темна вода во облацех!» — тревожно подумал я: «— Ну посмотрим!»

На верху страницы была краткая, крупными буквами и с большим темпераментом написанная заметка, спешно составленная самим редактором: — «Весть о смерти Семёна Соломоновича Юшкевича, — писал он, — такой неожиданной, поразила нас как громом. Еще в среду, он был у нас в редакции, был весел и оживлён, бодр и, казалось, здоров. Говорил о своих литературных планах, о том, как ему хочется работать, как много нужно ему написать.

«Увы, в это время смерть уже витала над его головой.

«За завтраком, куда собралось несколько писателей, забредших в этот день в редакцию, Семён Соломонович был особенно и как-то по особенному оживлён.

«Среди нас находился писатель, только что приехавший из Советской России. Юшкевич долго и подробно его расспрашивал.

«— Да, там плохо, очень плохо, говорил он. Но когда это кончится? Если-бы вы знали, как я тоскую по России...

«Бедный, он не знал, что маленькое кладбище Баньё навеки сроднило его с холодным и чуждым ему Парижем. Невольно вспоминаются слова одного из его героев, еврея Гилшера, тоскующего в Париже по далёкому Николаеву.

«— Ну, вот например, жалуется Ш-ми-рер, в рассказе «До-

мик Сумасшедшего », я умер. Где я буду лежать? Кто придёт ко мне в этом диком городе, у кого тут есть время на кладбище ходить...

« За кусочек моей улицы, я вам отдам весь этот Монмартр, что Монмартр — весь Париж. Знаете, вот выберу минуту и вернусь, и убегу отсюда. И буду бежать, понимаете вы меня, бежать, пока до моего Николаева не добегу. Прибегу и, как маленький, хоть на остатки посмотрю. Приду на свою дорожку улицу, лягу на пороге дома, заплачу и никто моих слёз уже не остановит »...

« В этом еврее Шми-рере Юшкевич описал самого себя, свои чувства и свою пламенную любовь к России.

« Простой, ласковый и обходительный, Юшкевич был любим всеми, даже в писательской среде, где так сложны отношения и так причудливо переплетены интересы.

« Маленький холмик на кладбище Баньё. Это всё, что осталось от большого русского писателя, доброго еврея, пламенно-го русского патриота и прекрасного, во-истину прекрасного человека.

« Да будет легка ему чужая земля — ».

Что ещё можно добавить к этим, по-истине прекрасным словам? Но я не со всем, в изложенных строках, согласен. Во-первых, в той части, которая касается Парижа и вообще Франции.

Париж и Франция ни в какой степени не были чужими ни бедному Шмиреру, ни Семёну Соломоновичу.

Жилось им здесь не плохо. По крайней мере, лучше чем в России, советской там, или не советской.

И плакать, в какой-либо России, возвратившемуся бедному Шмиреру не о чем. Разве только о том, что он туда вернулся.

Может быть, в этом и была тонкая суть рассказа Семёна Соломоновича.

И если, в перспективе времени, какую мы уже обрели, посмотреть на изреченное бедным Шмирером, то в ней можно узреть о Николаеве, и, вообще, о городах, нечто пророческое.

Как один русский старец предрек судьбу « Петра творенья » :

— « Быть Питербурху пусты! »

Время шло, на маленьком холмике на кладбище Баньё он был не забыт людьми.

Был поставлен памятник работы скульптора Н. А. Аронсона.

На открытии присутствовало много представителей литературы и русской общественности Парижа.

Раввин, доктор М. Г. Айзенштадт, произнес речь, посвященную памяти покойного.

— «И бысть утро, и бысть вечер»... как повествуется в Святом Писании, общем для всех нас, как русских, так и евреев.

И был литературно-художественный вечер памяти, в мире почившего, Семёна Соломоновича.

С литературной характеристикой покойного писателя, с чтением его произведений, выступал также Иван Сергеевич Шмелев, сказавши о нём прекрасное слово.

Но что могу сказать я о творчестве Юшкевича, писателя незабвенного и несомненно прекрасного?

Как Николай Васильевич Гоголь-Яновский, нам русским, дал возможность узнать об Украине и полюбить эту чудесную страну, так Семён Соломонович Юшкевич познакомил нас с еврейством, его жизнью, скорбью, грустью и радостью.

И научил понимать и любить этот народ.

И Юшкевич, и Гоголь грустили над людьми ласковой грустью, и улыбались, и смеялись сквозь незримые миру слёзы.

И по времени, и пространственно были они почти соседи, и оба были южане. И от «Записок сумасшедшего» до «Домика сумасшедшего» была не такая уже большая дистанция.

Однажды я спрашивал евреев, моих знакомых:

— Почему, мы русские, любим и уважаем Семёна Соломоновича, а некоторые евреи и «Еврейская Энциклопедия» его ругают? — И мне ответили с грустью:

— Люди, всюду и всегда, это люди. Хорошие и плохие. И если бы у вас составляли «Русскую Энциклопедию», за это взялись-бы, непременно, какие-нибудь неистовые люди.

Ив. Новгород-Северский



По «ту» сторону

Год 1970 в своем роде благоприятен для партии. Начинала чувствоваться заминка со зрелищами, и как раз ко времени подвернулись две годовщины — да какие : и Ленина 100-летие, и Сталина 90-летие со дня рождения.

Правда, сталинский « юбилей », кажется, особенно радужных надежд не вызывает и может даже превратиться в скандал. Пусть читатель судит сам.

« Правда » от 21 декабря 1969 года на своей второй полосе (место довольно почетное) уделила всего-на-всего три четверти подвала статье, озаглавленной « К 90-летию со дня рождения И. В. Сталина ».

Написана статья по принципу — нельзя не указать, однако, нельзя и не признать, а заключение — не может быть лучше.

Статья редакционная, без подписи. И видно, что ее авторы достаточно над ней потрудились. Сталин в ней не выглядит и приблизительно так, как выглядел на страницах партийной печати в последние годы своей жизни, несмотря на то, что все « острые углы » обойдены.

Сказано, что « в годы, когда И. В. Сталин являлся Генеральным секретарем ЦК, советский народ под руководством коммунистической партии и ее Центрального Комитета осуществил гигантские по своему всемирно-историческому значению и трудности задачи социалистического преобразования страны — индустриализацию, коллективизацию, подъем культуры.

« В те же годы советский народ под руководством партии совершил свой бессмертный подвиг в Великой Отечественной войне против фашистской Германии ».

Значит, и индустриализация и, особенно, коллективизация никакого отношения лично к Сталину не имели. Как это просто! Какая уверенность в том, что весь народ забыл все эти — такие громкие — его дела! Имя Сталина не упоминается и как Генсека, сумевшего почти непосредственно перед войной разгромить командный состав, пожалуй, лучше, чем это могла бы сделать любая неприятельская армия.

Но впечатление сталинского небытия продолжается всего несколько абзацев, а затем :

« Накануне Великой Отечественной войны И. В. Сталин, принимая руководящее участие в напряженной деятельности

партии в укреплении обороноспособности, допустил просчет в оценке сроков возможного нападения гитлеровской Германии на СССР. Как председатель Государственного Комитета обороны и Верховный Главнокомандующий, в ходе войны он проделал большую работу по руководству Советскими Вооруженными силами.

« Но после войны наряду с положительными мерами нередко принимал единоличные решения, не вытекавшие из потребностей экономики страны ».

И так вся статья, как слоеный пирог. Оставлена полная возможность при случае « принимать на вооружение » то, что понадобится в данный момент.

Зато завершающая часть не оставляет никаких сомнений.

« В Программе КПСС, решениях XXIII съезда партия коллективно, по-ленински определила пути развернутого коммунистического общества в нашей стране и своей всеобъемлющей идейно-политической и организаторской деятельностью обеспечивает новые крупные успехи советского народа ».

Статья, « спущенная » из ЦК партии в « Правду », — безсловный реверанс в сторону догматиков. Но чтобы иметь суждение о самом ЦК партии, следует принять в расчет и еще одно событие. А именно, в тот же день на Красной площади состоялась антисталинская демонстрация. В ней приняло участие двадцать человек. Это факт, заслуживающий внимания. С каждым разом число демонстрантов увеличивается, несмотря на то, что увеличивается и число заключенных по разным местам. Объяснить это можно только одним : в населении крепнет решение не допустить ресталинизации.

И вот здесь нужно отметить, что во время этой демонстрации против партии, ведущей политику ресталинизации, один из демонстрантов, молодой писатель, разорвал и втоптал в грязь портрет Сталина.

Результат : большинство получили по несколько лет заключения, а последний — ...10 рублей штафа.

Комментарии излишни.

**
*

« Правда » 18 декабря 1969 года поместила корреспонденцию « первого секретаря Пермского горкома партии ». Вот любопытные выдержки из нее, об учреждении политинформаторов.

« Мы убедились, что в некоторых парторганизациях поначалу не поняли существа новшества. Во-первых, политинформаторами было утверждено немало коммунистов, уже имеющих по пять-шесть партийных поручений. (Это всеобщая и по-

стоянная практика. — Б. Б.). Во-вторых, в политинформаторы « записывали » людей у которых не было ни соответствующего опыта, ни подготовки ».

И напрасно « вышестоящие » стараются метать молнии : откуда их — знающих и умеющих взять?

« Кое-где пошли по самому легкому пути — сменили « вывески » и на том успокоились. Был человек, скажем, информатором, теперь нарекли его политинформатором ».

« Сейчас в городе более трех тысяч политинформаторов ». И обязанности их более чем сложны. События, ведь, следует преподносить так, как желательно партии. Это видно и из следующих слов заметки :

« Они (политинформаторы) специализируются по четырем направлениям : внутренней политике, международному положению, экономике, вопросам культуры, морали, этики ».

Чи одно из этих « направлений » не так просто, чтобы не задумываясь подмалевывать его в нужные краски. Но хуже всего последнее время обстоит дело с вопросами культуры. Попробуйте доказать что исключение Солженицына из Союза писателей — акт культурного прогресса!...

А доказывать недоказуемое все время приходится. Потому-то :

« В городе работают 16 партийных кабинетов. В каждом из них есть методический совет, подобраны справочные материалы, составляются примерные разработки по темам » (шпаргалки? — Б. Б.).

« Важные задачи встают перед политинформаторами, освещающими проблемы экономики. Экономическая пропаганда должна активизировать инициативу людей в общественном производстве. А это в свою очередь требует правильного использования материальных и моральных стимулов ». Короче говоря — человеческого отношения к трудящимся и человеческой оплаты их труда. А так как еще и теперь это только « в процессе становления », то —

« В центре внимания стоят проблемы дальнейшего укрепления дисциплины труда, коммунистического отношения к народной собственности, правильного использования рабочего и свободного времени ». Можно заметить, что партийный жаргон « улучшается » настолько, что уже появляется необходимость « переводить » с этого жаргона на общепринятый язык. Уже длительное время иностранные источники указывают на падение производительности труда в СССР, на то, что отношение населения к частному имуществу продолжает оставаться прежним, но к « социалистическому », или « народной собственности », как сказано здесь, — совсем иное : такую « собствен-

ность » не зазорно взять в любом количестве и в любое время, и это кражей не считается.

**
*

27 декабря 1969 года « Правда » опубликовала корреспонденцию из Белоруссии под впечатляющим названием « Цена слов и дел ». Тема статьи стара как сам коммунистический режим, что называется, навязла в зубах, и если мы сегодня к ней возвращаемся, то только в подтверждение сведений, просочившихся из страны уже в первой половине прошлого года, о том, что с продажей мяса населению дело обстоит далеко не блестяще.

Даем только вступительную часть, написанную самой редакцией.

« В проходившем недавно пленуме ЦК Белоруссии шел большой и серьезный разговор о развитии животноводства в республике. Он возник не случайно. В последнее время в ряде хозяйств и районов замедлились темпы развития этой важной отрасли сельского хозяйства. Заготовки мяса и молока за одиннадцать месяцев увеличились только на три процента, тогда как обязательствами предусматривался их прирост по мясу в 12 процентов и 11 процентов по молоку. Какие же причины сдерживают темпы роста производства продуктов животноводства в республике? »

На этот вопрос автор корреспонденции дает совершенно исчерпывающий ответ :

« Причина отставания кроется (...) в неумелом руководстве отраслью ».

Коротко и ясно. Не сказано только одно : на каком уровне подразумевается « руководство »? Но это уже — запретная зона.

**
*

« Почему не сказали правду ». Так озаглавлено письмо « лектора горкома партии » из Белоруссии в редакцию « Правды » (в номере от 2. 1. 1970).

« В конце ноября состоялся очередной пленум Лидского горкома КП Белоруссии. Первым в повестку дня был поставлен организационный вопрос. По нему выступил второй секретарь Гродненского обкома КП Белоруссии... Он сообщил, что второй секретарь горкома партии тов. Полевой переводится на хозяйственную работу, почему предлагается освободить его от обязанностей второго секретаря и члена бюро горкома партии.

« Такое сообщение вызвало недоумение участников пленума. Дело в том, что тов. Фомичев не сказал пленуму всей правды. Мотивы перевода тов. Полевого кроются совсем в другом. Будучи в командировке в Минске, он в результате неумеренного употребления спиртного оказался в вытрезвителе. Об этом позорном случае стало известно во всем городе, да что там — в городе! Во всей области. Дальнейшее пребывание тов. Полевого на ответственной партийной работе стало немислмым ».

Конечно, не стоит « набираться » до вытрезвителя. Вот « дорогой » Никита Сергеевич в свой официальный приезд в Загреб сильно « наступил на пробку », а в вытрезвитель не попал, вероятно, потому, что вытрезвителей нигде, кроме СССР, нет.

**

*

« Комсомольская правда » 20 декабря 1969 года поместила заметку пяти соавторов, среди которых и партийцы, и инженеры, и рабочие. Такое « соавторство » практикуется во всех особо серьезных случаях, — когда вина лежит на начальствующих лицах, а они партийцы не без веса, и трогать их не безопасно.

Заметка озаглавлена : « По рабочему, по хозяйски ». А подзаголовок выдержан уже совершенно в пропагандном стиле : « предъявим иск расточительству : каждую копейку, минуту, грамм — на учет : — предлагают в коллективном письме работники Харьковского электромеханического завода ».

Заметка довольно велика, но сведения в ней приводятся уже давным давно устаревшие, за исключением одного, о котором немного ниже. Но у нас возникает вопрос, которого мы, помнится, еще не касались : почему о неполадках и недостатках на заводе пишут в газеты, и почему занимаются ими почти всегда не те, кому заниматься следовало бы, а именно — заводская администрация?

Ведь если « станки и агрегаты без толку лежат на складах и вместо прибыли приносят только одни убытки », то спрос за это в первую очередь не с рабочих и не с « Комсомольских прожекторов », а казалось бы, именно с директоров.

Может статься, что администрации некогда оторваться от бесконечных отчетов, рапортов и объяснений, а может статься и то, что « производственная демократия » — есть и такая — достигла такого совершенства, что уже никто никого не слушается.

Но вот нечто новое, и трудно объяснимое.

« В одном цехе из месяца в месяц перерасходовали элек-

троэнергию. Наши «прожектористы» заинтересовались этим. Причину установили сразу — долгих поисков не понадобилось. Сквозь давно невымытые стекла цеха с трудом пробивался солнечный свет».

Нет, это не ошибка. Так и напечатано: «с трудом пробивался солнечный свет». И мимо этих невымытых стекол «из месяца в месяц» спокойно проходят не только начальствующие, но и «прожектористы», и не замечали пыли и грязи.

Да какое им дело?! И завод им не принадлежит, и выпускаемые изделия получает не то африканец, не то азиат на проведение мировой революции...

А редакция постаралась и в том же номере газеты, рядом с этим письмом, напечатала: «За произвол — к ответу!»

В этой заметке, помещенной уже после обследования и вынесения партийных наказаний, состоявших в том, что три мелкоплавающих «волонтариста» от работы освобождены, рассказано следующее, не частое в советской действительности происшествие, которое мы перескажем почти без сокращений.

«31 октября в «Комсомольской правде» была опубликована корреспонденция «После поздравления». В ней рассказывалось о том, как работники Краснопереконского района комсомола устроили самочинный обыск в доме у работницы СМУ Анны Обливанец, заподозренной ими в воровстве. Случай этот был беспрецедентным вдвойне: всего за два часа до обыска вручили Анне Обливанец комсомольский билет, и сердечно поздравили ее со вступлением в ряды ВЛКСМ».

Но это не единственный пример социалистической «законности»! Не нужно много копаться в советской печати, чтобы получить другие, что называется, почище.

«Правда» от 8 января 1970 года напечатала заметку двух своих специальных корреспондентов — «Каменистой тропой».

В ней идет рассказ о враче Дзоеве и о горячих минеральных источниках на Кавказе, недалеко от Казбека, в Осетии.

Отец Дзоева был «скрючен жесточайшим ревматизмом», но с большими усилиями, в повозке, на носилках, был доставлен к минеральному источнику Кармадон, высоко в горах «вытекающему из-под Малийского ледника», и в его горячих водах подучил исцеление.

Это так подействовало на десятилетнего мальчика, что, окончив университет и став врачом, он провел всю жизнь в Кардамоне, с перерывом только на войну, с которой возвратился подполковником.

В течение трех десятилетий только усилиями доктора Дзоева источники получили известность, их воды были анали-

зированы, были определены болезни, от которых они излечивают. Упорным трудом доктору удалось и заложить основание курорту.

Потом место начальника курортного управления занял новый человек. Ему на глаза попала папка с делом против Дзоева за нарушение правил « хозяйственно-финансовой деятельности », заключавшееся в неправильном ведении отчетности. Дело уже трехлетней давности. Доктор за свои ошибки получил взыскание, установлено, что своекорыстного в деле он ничего не допустил...

Однако, вновь назначенный начальник « освободил его от занимаемой должности ».

« Кстати, Дзоеву предложили другую работу, лучше оплачиваемую и вообще со всех точек зрения более соответствующую его званию кандидата наук, заслуженного врача республики. И конечно сильно удивились, когда он отказался наотрез ».

О начальнике, уволившем Дзоева, не дано никаких сведений, кроме того, что он « новый человек ». Видно, какая-то крупная птица, если может не считаться с ранее вынесенными постановлениями.

« — Ничего, что давнее... А я не доверяю ».

Дорогие Никиты Сергеевичи, как видим, возможны на всех ступенях длинной советской иерархической лестницы.

« У этой истории благополучный конец », — записали корреспонденты « Правды », а сколько историй оканчиваются совсем по-иному?

**
*

« Правда » 17 января 1970. В рубрике « Партийная жизнь : подумаем вместе » помещена заметка « Итак, выбираем ». Заметка достаточно объемистая. Но суть дела изложена в редакционном вступлении, набранном жирным шрифтом.

« Итак, у каждого может быть свое предложение, кого выбрать. Каждый имеет право голосовать за того, кого он считает самым подходящим кандидатом. Однако, окончательное решение принадлежит собранию. И чтоб решение это было наиболее точным, взвешивающим, учитывающим все точки зрения, чтоб возобладали действительно принципиальные интересы, — интересы дела, необходимо, очевидно, строгое соблюдение норм и требований внутрипартийной демократии ».

С партийной точки зрения существует только одно « дело » : построение коммунизма, а что такое « внутрипартийная демократия » — отлично известно еще с того дня, когда Троцкого самым демократическим способом — ударом молота по

голове — отправили к праотцам. Но этот, самый лучший, самый надежный способ выбрать наиболее достойного, кем-то или чем-то сильно поколеблен, судя по редакционному примечанию, которое начинается так :

« Выбраны... Сделаем ударение на этом слове. Выбраны — значит из кого-то. Значит, перед каждым был вопрос, проблема выбора : этого, или может быть того?... »

Еще так недавно в этом не было вообще никакой проблемы. Выбирали того, кого назначало партийное начальство! И результаты сказываются буквально на каждом шагу.

Вот первый, попавшийся под руку пример.

« Комсомольская правда » от 11 января 1970 года. Коротенькая, неподписанная заметка. Заголовок — « Рыба на суше ».

« Когда сегодняшний номер газеты был почти готов, позвонили в редакцию из Батуми. Тревожный сигнал : на территории базы « Гослова » скопилось уже 10.000 центнеров рыбы. Поят бочки на дворе несколько дней под батумским солнцем — и на свалку. А к причалам продолжают подваливать сайнеры со свежей рыбой : идет путина... Директор базы Ш. Иоселиани возмущен :

« — Вы спрашиваете, в чем дело? В вагонах! Подают их нам в три раза меньше, чем нужно, хотя, конечно, вагоны запланированы в том количестве, в каком мы требовали. И подают их только в конце дня... Не дождемся мы, кстати говоря, и тары из Ейска на 15 000 бочкоцентнеров, а из Калининграда еще больше... »

И комментировать здесь нечего, и удивляться нечему — всё делается на строго « научном, планомерном основании ».

И так не только с рыбой. Вот « Комсомольская правда » от 20 декабря 1969 года.

« Комсомольский прожектор » сообщает результаты своего « рейда » по Харьковскому электромеханическому заводу. Письмо не короткое, но факты в нем все старинные, за исключением одного, который и приводим.

« Были случаи, когда человек, который заказал оборудование для какого-то цеха, уволился с завода и никто тогда не мог припомнить, для чего понадобился новый станок ».

« Прожектористы » поставили перед собой задачу : добыть, чтобы все « безработные » станки в течение года нашли рабчее место в цехах завода ».

Сколько же валяется на заводских складах таких « безпризорных » станков, если на их монтаж требуется целый год?!

Между прочим. В подзаголовке корреспонденции сказано : « Предъявим иск расточительству! »

Предъявлять иск « расточительству » — дело явно безнадежное, а вот расточителям, да тем, кто завел такое расточительство, очень бы следовало, но как приступить к « мудрой » партии?

**
*

Что Каспий обмелел — старая история, что в Каспии переводится рыба — тоже, к сожалению, не новость. Сегодня речь пойдет о другом : о семи няньках. « Комсомольская правда » от 8 января именно об этом и пишет.

« Уровень Каспия за последние десятилетия снизился более, чем на два метра и продолжает катастрофически падать... Отступая, самое большое озеро мира потеряло несколько десятков тысяч километров площади. Сегодня совершенно ясно, что падение уровня воды во всем бассейне связано в первую очередь с деятельностью человека ».

Внесем маленькую поправку : не с деятельностью человека вообще, а с деятельностью партии, пожелавшей « преобразовать природу ».

« Сегодня более 20 научно-исследовательских организаций занято исследованием Каспия. Половина из них находится в Москве и Ленинграде. Связи между учеными слабы и случайны. Переписка, обмен телеграммами... Каждый центр ведет свои исследования и судит о Каспии со своей колокольни.

« Мы много положили сил на то, чтобы преодолеть разобщенность хозяйственников, но осмелюсь утверждать, что разобщенность ученых не менее опасна делу... »

На той же полосе того же номера той же газеты письмо из Днепропетровска « Рекламация на... медведя ». Подзаголовок : « По сигналу из детсада ».

« В мальшевую группу детского сада привезли много новых игрушек... И тут вдруг со всех сторон посыпались бесконечные « почему? »

— Почему у Ниночкиной Фенички только одно плечо, а у Клавиной — совсем нет плеча?

— Почему у Мишки одна нога медвежья, а другая слоновая?

— Почему у собаки Паф два хвоста?

А Ирочка играла с куклой Людмилой и порезалась о ее ногу...

— У Людмилы нога с ножиком, — сказала Ирочка ».

Малыши задают такие вопросы просто потому, что они еще, к своему счастью, не ведают, что игрушки вырабатываются по самому совершенному, научно обоснованному способу, социалистическим хозяйством.

Б. Борисов

В «ЛЕНИНСКИЙ» ГОД

Грустное впечатление оставляют два последних номера «Нового Мира» еще подписанные Твардовским в качестве главного редактора и вышедшие опять с очень значительным запозданием. Бросается в глаза обилие переводных вещей: словно уходящий главный редактор, уже лишаясь возможности печатать что либо по-настоящему ценное, еще сопротивлялся затоплению журнала определенной халтурой отечественного производства. В теперь предстоящих, ближайших выпусках таковая, конечно, не заставит себя ждать...

Против того, что Лев Гинзбург пишет о нацистском терроре, о его организаторах и исполнителях нечего было бы возражать, — если бы его очерки («Мюнхенские встречи», законченные в № 11) печатались вслед за «Раковым Корпусом» Солженицына или одновременно с ним.

«Я никогда не забуду документ, который наглядно показывал, как по приказу Гитлера людей отправляли на смерть целыми семьями... Случись подобное один единственный раз, то и этого хватило бы с избытком! Но такое страдание, повторенное миллионнократно, — кто в состоянии постичь это?»

Конечно, такое признание Шпеера заслуживало того, чтобы советский журналист его записал. Но правда, сама по себе бесспорная, становится нарочитой полу-правдой. т. е. сознательной ложью после того, как Твардовскому запретили печатать «Раковый Корпус» с запечатленным в нем таким же «миллионнократно повторенным» страданием. Об этом думают, наверно, и очень многие читатели «Нового Мира» в России, особенно теперь, после исключения Солженицына из ССР.

Беда для исключателей Солженицына, сваливших теперь и Твардовского, в том, что стоит только серьезно затронуть какую бы то ни было тему, как начинают обнаруживаться прорехи и изъяны их мертвой идеологии. Страницы, в № 12 «Нового Мира» посвященные Константином Симоновым столетней годовщине «Войны и Мира» Толстого, читаются не без интереса. И, вероятно, не только нам приятно то, что ни о какой «партийности» в этом очерке нет речи: Симонов говорит только о «патриотизме» Толстого в те годы, когда он писал знаменитый роман, о «его глубочайшей чувствительности к национальному унижению» (пережитому Россией в Крымской войне), о том, что Толстой был «в ту пору особенно неравно-

душен к историческим судьбам России как государства », и он сочувственно приводит оценку « Войны и Мира » ген. Драгомировым (« одним из умнейших военных людей России того времени »). Параллель со « Второй Отечественной войной » 1941-45 гг. под пером Симонова совершенно естественна, и, конечно, этот упор на определенную преемственность в судьбах России сам по себе теперь уже не составляет « крамолы » с точки зрения властей предрежащих. Но потому именно, что статья Симонова — интересная, содержательная статья, в ней волей или неволей всплывают и более щекотливые вопросы. Разделяя взгляды Кутузова и самого Толстого на ненужность продолжения войны после изгнания Наполеона из России (в согласии с тем, что в качестве историка писал и Тарле), Симонов — уже одним этим параллелизмом двух « отечественных войн » — наводит мысль на вопрос : а после 1945 г. надо ли было вассализовать добрую четверть Европы и этим вызывать « холодную войну », которая еще слава Богу, что не перешла в горячую? И если верно, что по убеждению Кутузова и Толстого, « русскому человеку, как русскому, делать было нечего » в Париже в 1814 году, то нет ли у Симонова в России читателей, которые по этому поводу вспомнят современную Прагу?

Возможно, что такие сопоставления напрашиваются не обязательно, но есть у Толстого и некоторые другие суждения, которые Симонов, как видно, не мог обойти, — и их отношение к современной злобе дня представляется еще гораздо более ясным.

Говоря о « ярости, с которой Толстой замахнулся на Наполеона », Симонов продолжает :

« Думаю, что причина этой ярости в том, что Толстой хотел непременно опрокинуть в своей книге господствовавшие в его время взгляды на *роль личности* в истории, на *роль власти* вообще и *неограниченной власти в частности* (курсив мой — С. О.). (...) Толстой с такой силой обрушился на саму идею неограниченной власти и на безнравственность мнимого превосходства одного человека над всеми другими людьми, что и век спустя, читая эти гневные страницы « Войны и мира », чувствуешь всю мощь и нравственной высоты, и прозорливости Толстого ».

Всем известно, о чем « век спустя » идет речь, когда в России говорят о « роли личности » и о ее « мнимом превосходстве над всеми другими людьми ». Относительно самого Наполеона, Симонов, кстати, не отрицает, что он остается великим несмотря на, частью несправедливые, нападки Толстого, — и тут многие его читатели в России могли вспомнить негодование, с

которым Тарле отвергал всякое сравнение с Наполеоном гнусного и пошлого Гитлера, и трудно им не подумать, что « ярости », которую Толстой не совсем справедливо сосредоточил на Наполеоне, диктаторы XX века заслужили вполне. И то надо сказать, что самые « гневные » страницы « Войны и Мира » блекнут по сравнению с тем, что « В круге первом » написал Солженицын о той « личности », которая, как никто раньше, возомнила себя выше всех других людей во всем мире и на все лады провозглашалась таковой.

Повторяем, что эти сопоставления кажутся нам почти неизбежными. Они и сейчас еще остаются не совсем запретными и поэтому возможно, что сам Симонов их не совсем исключал. Но можно пойти и дальше : в « ленинский » год, при неслыханном раздувании культа Ильича, « гневные страницы » Толстого о « роли личности » не совсем безопасны и по части таких выводов, о которых советский романист наверно не подумал.

Только в наше время — и именно с Ленина — стало также известно, что такое власть действительно « неограниченная ». Толстой знал только старые европейские монархии и к ним он сам никакой нежности не питал. Но если читатель в России захочет узнать разницу между « проклятым царизмом » и « народной властью », благополучно установленной в СССР, то как раз в одном из этих последних номеров « Нового Мира » он может найти одну очень яркую справку, несомненно просочившуюся на страницы журнала всё по той же причине : стоит только начать серьезно разбирать любой вопрос, как какая нибудь « идеологическая неувязка » выйдет где нибудь непременно.

В отделе « Литературная критика » № 11-го « Нового Мира » напечатана статья А. Володина о том, как покушение Каракозова на Александра II сказалось на русском революционном движении вообще и на Писареве в частности. Автор, среди прочего, цитирует « Колокол » Герцена, вот как описывавший начавшийся после покушения « белый террор » :

« Ночью с восьмого на девятое апреля начинается период поголовного хватания... Брали всех и каждого, кто только был оговорен, чье имя было произнесено на допросе кем нибудь из взятых или находилось в захваченной переписке. Брали чиновников и офицеров, учителей и учеников, студентов и юнкеров, брали женщин и девушек, нянюшек и мамушек, мировых посредников и мужиков, князей и мещан; допрашивали детей и дворников, прислугу и хозяев; брали в Москве, брали в Петербурге, брали в уездных городах, в отдаленных губерниях; брали в селах и деревнях, брали в посадах и местечках; брали,

брали и брали по такой обширной программе, что никто и нигде не чувствовал себя безопасным ».

« Колоколу » вторят « воспоминания » Г. З. Елисеева :

« Всякий литератор, не принадлежавший к направлению Каткова, считал себя обреченною жертвою. ...Каждый день и всегда почти утром приносили известие : сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро опять взяли таких-то и таких-то и т. д. ».

Словом — ни дать, ни взять, как в Советском Союзе после убийства Кирова. Можно поручиться, что при чтении всего вышеприведенного у очень многих мысль к этому именно и обращается.

Только вот : на следующей колонке той же страницы, стоит в статье А. Володина одно придаточное предложение :

« Хотя большинство арестованных было в конце концов выпущено »...

Ничего больше не надо. Уже всякому ясно, какая пропасть пролегла между империей Александра II и деспотией Сталина.

И не только Сталина. Напомним здесь то, о чем в прошлом сентябре писал в « Возрождении » П. Е. Ковалевский, по поводу другой попытки цареубийства, подготовлявшейся Ульяновым старшим и закончившейся казнью *пяти* человек : « После покушения Фанни Каплан на Ленина было убито *несколько сот человек, в том числе много невинных заложников* ». Как бы ни старалась теперь партийная историография представить Ленина « великим гуманистом », рано или поздно до сознания нашего народа дойдет и это сопоставление, — не только со сталинским террором, но и с тем, который был уже до него.

Как известно, Твардовский, когда составлялись эти два последние номера его журнала, был уже надежно окружен проверенными приверженцами партийного правоверия, сам он никогда не стремился подрывать существующий режим как таковой, а в этот момент к тому же имел все основания не давать излишних поводов для новых нападок на него. Следовательно, такие придаточные предложения, как отмеченное выше, просачиваются еще и теперь в партийную печать просто потому, что вечно скрывать правду невозможно.

То же самое сказывается и в отделе беллетристики этих двух номеров. Едва ли не единственная полноценная вещь, тут еще появившаяся, это — повесть Натальи Баранской « Неделя как неделя ». Никакого « политического коэффициента » в прямом смысле слова она не содержит, но этот спокойный и вместе с тем живо написанный, психологически тонкий рассказ о каждодневных переживаниях молодой образованной женщины оставляет убийственное впечатление — бессмысленной задер-

ганностью людей, беспросветной серостью быта, какой-то каменной бездушностью — не «среды», состоящей из людей, в большинстве, живых и совсем неплохих, но того искусственно сооруженного и к тому же очень плохо работающего абстрактного «коллектива», в который все они вовлечены. Прошлый раз мы приводили московское речение о том, что не очень удобно праздновать Ленина через с лишним полвека после революции, когда в стране нет даже вдоволь колбасы. Тем более повесть Н. Баранской, напечатанная в журнале, который именуется «Новый Мир», а не как либо иначе, поневоле заставляет подумать, что «строительство» такого «нового мира», ей Богу, не стоит той цены, которую за него платили и еще продолжают платить.

Вместе с тем, все труднее становится отстаивать и теоретические предпосылки этого предполагаемого «нового мира». В «ленинский год», особенно много усилий кладется на то, чтобы защитить марксизм-ленинизм как «окончательную научную истину». Но в самих этих стараниях иногда можно заметить некоторые неполадки и странности.

*
*
*

В том же «Новом Мире» в № 11 статья М. Волькенштейна, «члена-корреспондента АН СССР», вводит некоторые понятия и высказывает некоторые истины, не совсем вяжущиеся с обычным партийным догматизмом. Довольно настойчиво автор отвергает узко утилитарный подход к науке, настаивает на любви к истине как таковой, говорит о вдохновении как неотъемлемом элементе научного творчества, о его связи с эстетикой и этикой. Строки, посвященные лысенковщине и, с другой стороны, таким жертвам сталинского обскурантизма, как Н. И. Вавилов, связаны с этим непосредственно. Конечно, автор спешит добавить, что «эти черные страницы в истории советской науки зачеркнуты решениями пленума ЦК КПСС в октябре 1964 года» (точно эти решения, ставшие просто практически необходимыми, сделали бывшее небывшим и устранили возможность такого же произвола в будущем). Но на наш взгляд важнее всего в статье Волькенштейна признание, что любое научное представление, любая теория всегда могут быть совершенно изменены появлением новых фактов, новыми открытиями. Откуда же тогда «окончательность» «единственно научного» партийного мировоззрения? Надо сказать, что у самого Волькенштейна эта тема относительности любых, даже наиболее твердо установленных научных теорий представлена довольно однобоко. Свое отталкивание от всякого «мистицизма»,

от религии он подкрепляет историческими справками того, приблизительно, уровня советских антирелигиозных изданий, который даже в казенной печати теперь всё чаще признают неудовлетворительным. А современную парапсихологию, явления телепатии и т. д. этот ученый автор отвергает как-то даже страстно и уж совсем априорно: « существование этих явлений противоречит всей совокупности фактов, добытых естествознанием ». Известно, что о парапсихологии сейчас очень много спорят в советских научных кругах, и страстность отрицаний Волькенштейна может быть связана с боязнью какой-то слишком уж неожиданной ломки принятых представлений и идей. Между тем сам он писал в начале своей статьи о кажущемся « сумасшествии » подлинно научной новизны, появляющейся тогда, когда « существующие идеи исчерпаны » и требуются « новые, неожиданные ».

Но оставив даже в стороне особенно ненавистные Волькенштейну медиумизм, телепатию, телекинезис и т. д., можно заметить, что за последнее время в советской печати стали появляться статьи ученых авторов о возможности больших « неожиданностей » в общей картине мироздания. Соответственно поданные цитаты из « классиков марксизма » должны при этом показать, что « в общем и целом » диамат и тогда останется верным. Может быть, ошибаюсь, но это немножко похоже на то, как после Хирошимы ведущих советских физиков стремительно мобилизовали в « Правду » и в « Известия » — объяснять широкой читательской массе, что Ленин отрицал только « идеалистические толкования » атомной физики со стороны « идеологов буржуазии », тогда как саму атомную физику можно и должно считать настоящей наукой, без риска попасть в какой нибудь уклон. Иначе говоря, возникает подозрение, что наука в России — подлинная — теперь доходит до таких выводов, которые — по тем или иным причинам — нельзя больше скрывать и поэтому требуется немного заранее так или сяк « увязать » их с партийным « мировоззрением », — как четверть века тому назад пришлось это делать по случаю появления атомной бомбы.

Особенно показательной в этом отношении можно счесть статью академика В. А. Амбарцумяна, напечатанную не где нибудь, а в « Коммунисте » — « теоретическом и политическом журнале Центрального Комитета коммунистической партии Советского Союза », № 18 от декабря прошлого года. Она прямо с того и начинается, что « развитие современного естествознания остро поставило множество философских проблем... Философские проблемы естествознания вызывают сейчас довольно частые дискуссии среди естествоиспытателей ». Непосредствен-

но за этим формулировано задание : « рассмотреть (эти проблемы) с позиций марксистско-ленинской философии ».

Выполнено это задание без излишних ухищрений, просто добавлением к статье, в самом ее конце, нижеследующей ектиньи :

« Правильный анализ этих проблем, их научное истолкование возможны лишь с позиций диалектического материализма.. Многим естествоиспытателям, к числу которых автор относит и самого себя, философия диалектического материализма помогала и помогает в осмыслении ряда трудных проблем. Она является... определенным способом мышления, который приводит к важным и плодотворным результатам. Вот почему В. И. Ленин подчеркивал, что « идя по пути марксовской теории, мы будем приближаться к объективной истине всё больше и больше (никогда не исчерпывая ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи » (Полн. собр. соч., т. 18, стр. 146) ».

Почему так, почему только этим путем и никаким другим, и чем сам ученый автор как и « многие » другие естествоиспытатели обязаны диамату, — из статьи академика усмотреть совершенно невозможно. Зато в ней говорится довольно откровенно о необходимости еще более решительно, чем до сих пор, пересмотреть те представления о веществе и о мироздании, из которых исходили « основоположники » марксизма.

Тогда как М. Волькенштейн в разобранный выше статье старается всётаки ограничить этот пересмотр только « изменением » существующих теорий и взглядов, В. А. Амбарцумян идет гораздо дальше. Говоря о процессах, открытых за последние годы « в ядрах галактик и квазизвездных объектах », он пишет :

« Нет и не может быть никакой гарантии, что известные нам законы физики соблюдаются и в этих условиях. И совсем не удивительно поэтому, если окажется, что имеющиеся сейчас большие трудности теоретического истолкования ряда нестационарных процессов могут перерасти с течением времени в прямое противоречие с известными нам законами физики ».

И в другом месте :

« Те физики, которые считают, что известные сейчас фундаментальные физические теории достаточны для описания всего многообразия явлений во Вселенной, сначала с недоверием отнеслись к фактам, свидетельствующим о громадных превращениях энергии многих галактик, а когда такие факты были установлены вполне надежно, пытаются объяснить их с точки зрения известных физических представлений... Но поскольку новые исследования показывают, что этим ничего добиться

нельзя, их точка зрения об универсальности фундаментальных теорий современной физики буквально повисает в воздухе ».

Таким образом, здесь идет речь уже о настоящем перевороте в нашей картине мироздания, « еще решительнее порывающем с классическими представлениями ». И этот переворот затрагивает не только специальную отрасль автора — космологию, но едва ли не всё человеческое знание во всей его совокупности :

« До начала XX века, — пишет акад. Амбарцумян, — в естествознании было общепринятым представление об универсальности законов классической механики, « сводимости » к ним всех других закономерностей природы. На основе этих представлений и была построена механическая картина мира... Научная революция XX века разрушила эти метафизические воззрения : стало совершенно очевидным, что разнообразие известных законов природы невозможно втиснуть в узкие механические рамки... В этом смысле, биологические системы должны рассматриваться, как результат естественного синтеза, ведущего к появлению новых свойств, по сравнению с которыми первоначальные физико-химические свойства элементов этих систем являются тривиальными, и просто смешно « сводить » живые организмы к простой сумме составляющих ее (sic!) элементов ».

Но разве не эти « метафизические воззрения », « сводившие » всё в мире, и жизнь, и сознание, к « законам классической механики », — разве не они составили основное ядро марксо-ленинской идеологии?

Остается последняя лазейка, к которой всё чаще прибегают теперь советские теоретики. Начав, повидимому, понимать, что под напором новых открытий дело с материалистической философией обстоит уже не так просто, Ленин однажды написал несколько строк, которые и В. А. Амбарцумян не преминул процитировать :

« Природа бесконечна, но она бесконечно *существует*, и вот это-то единственно категорическое, единственно безусловное признание ее *существования* вне сознания и ощущения человека и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма ».

Не трудно заметить, в чем тут ловкость рук : как всегда у Ленина, утверждается, совершенно бездоказательно, что возможны только две законченные философские системы, материализм и идеализм (точнее — немецкий идеализм, каким его знали и понимали его противники-материалисты прошлого века); этот идеализм отвергается, признается нечто « бесконечно существующее вне нашего сознания », — и этому нечто да-

ется имя «природа» или, еще лучше, «материя», сущность и свойства которой теперь оставляются совершенно в тени, они могут даже совсем не совпадать с тем, что понималось под «материей» в науке времен «основоположников марксизма». При таком определении, под «материей» можно уже понимать всё, что угодно. Но если в современном естествознании прежнее научное понятие материи всё более оказывается иллюзорным, то «бесконечно существующим вне нашего сознания» можно признать и нечто — по старым понятиям — совершенно «нематериальное», можно признать Высшее Сознание и Высшую Сознательную Волю, как это всегда делало большинство спиритуалистических учений. По вышеприведенному определению Ленина, это Высшее Сознание надо будет тоже еще обзывать «материей», — но что же это за игра словами и что хотят с ее помощью доказать?

В самой статье В. Амбарцумяна есть места, заставляющие поставить вопрос: что такое эта «природа бесконечная» и «бесконечно существующая»? О бесконечности и бесконечном существовании той вселенной, в которой мы живем, больше говорить, как будто, не приходится. Советский академик очень настаивает на необратимости всех протекающих в ней процессов, в ней нет никакого «механического круговорота», «распад и рассеяние» вещества «характеризуют общую направленность» всего, что в ней происходит, и «наоборот, мы не знаем пока ни одного случая, когда из диффузной материи возникал бы плотный объект». В. А. Амбарцумян отмечает даже, что по новейшим — его собственным — исследованиям — «возраст» нашей Галактики меньше, чем считалось еще недавно, — а так как распад и рассеяние характерны и для других галактик, то это, по-видимому, надо сказать и о всей вселенной в целом. Пусть всё это измеряется величинами для нас невообразимыми, — это уже не «бесконечность», не «бесконечное существование».

Вслед за статьей В. А. Амбарцумяна в «Коммунисте», «Известия» под самый новый год напечатали популярную статью известного астронома И. Шкловского приблизительно на ту же тему. В ней речь уже прямо идет о том, что было «на заре существования Вселенной», «когда вселенная была в тысячу раз моложе, чем сейчас», попутно говорится о новых космологических проблемах, на которые «однозначного ответа пока нет», и подчеркивается, что значение новейших открытий «не только для космологии, но и для всего нашего мировоззрения трудно переоценить».

Становится совсем похоже на надвинувшийся кризис мировоззрения (того мировоззрения, которое в официальном и

обязательном порядке исповедуется в СССР). Известно, что на Западе уже первые указания на необратимость распада Вселенной и, следовательно, на ее не-вечность привели некоторых исследователей к мысли, что в объяснение ее возникновения проще всего предположить некий творческий и, по всей вероятности, сознательный Акт. Сейчас можно подумать, что в Советском Союзе некоторые исследования еще ближе подводят к подобным же выводам. Старания превентивно что-то перетолковать и « увязать » могут быть вызваны этим. Но как бы то ни было, мировоззрение, сто лет тому назад стоявшее более или менее « на уровне (тогдашней) науки », вряд ли можно спасти такой ектеньей, как та, которую акад. А. В. Амбарцумян присвоил в заключение своей интересной статьи.

Никаким философским « идеализмом » все это, конечно, не угрожает. Передовая русская мысль — та, которая оказалась изгнанной из Советского Союза, — давно уже знает понятие *мистического реализма*, охватывающего всю совокупность реальности, и духовной, и материальной, и рационально объяснимой, и сверх-рациональной. Вернее всего, в этом направлении и произойдет преодоление вполне ретроградного материализма, уже полвека царящего в России.

**
*

В столетие Ильича, боязнь всякой новизны, и в идеях, и в жизни, и вместе с тем невозможность от нее отгородиться совсем, стали тем основным противоречием, над которым бьется партийная власть Советского Союза. Не требуется особой пронизательности, чтобы это заметить. Но вопрос в том, какие выводы делать из этого положения вещей. Нам уже довелось вкратце говорить о произведении « молодого советского историка » А. Амальрика, которое по каким-то причинам пользуется все большим успехом за пределами России, переводится и публикуется на разных языках, — его французское издание выходит в свет на этих днях. Это и побуждает нас к нему вернуться.

Когда А. Амальрик говорит, например, о « противоестественном отборе » партийной бюрократии СССР, приводящем к выдвиганию элементов наименее творческих, наиболее лишенных всякой инициативы, — это есть констатирование бесспорного факта и составляет открытие разве только для тех, кто за границей привык упорно закрывать глаза на советскую действительность. Ничего нельзя возразить и против той картины безнадежного одряхления режима, которую после этого рисует Амальрик :

« Привыкшие повиноваться без возражений и без рассуждений, чтобы дорваться до власти, бюрократы, дорвавшись до нее, отлично умеют сохранять ее в своих руках, но абсолютно не умеют ею пользоваться... Единственной целью такого режима, по крайней мере во внутренней политике, должно быть самосохранение. Так это и есть. Режим хочет только, чтобы всё оставалось, как прежде : чтобы власти признавались, чтобы интеллигенция молчала, чтобы система не была поколеблена опасными и неожиданными реформами. Режим не нападает, он обороняется ».

И далее, о так называемой либерализации ;

« Точнее было бы рассматривать этот процесс увеличения степеней свободы как процесс упадка режима. Он просто стареет и уже не может подавлять всё с прежней силой и яростью ».

Всё это писалось уже не раз, всё это почти в тех же выражениях уже не со вчерашнего дня утверждалось и нами в « Возрождении ». Можно понять и то, что эти мысли привлекают больше внимания, когда их высказывает автор, живущий в Москве. Но эти правильные мысли дают ему повод формулировать такие выводы, которые ничего кроме вреда не могут принести, — а правильность предыдущего придает этим выводам вес в глазах недостаточно разбирающихся читателей.

Верно, что самосохранение теперь — единственная цель режима; « его девиз, — как и пишет Амальрик : — не трогайте нас, и мы не будем вас трогать ». Но как раз для того, чтобы его « не трогали », одно из главных орудий режима это — страх не столько даже перед его собственной силой, которая теперь уже не так велика, сколько страх перед тем, что будет потом. Попросту говоря, режиму необходимо внушать своим « подданным », что если его тронуть, то потом будет еще хуже. И вот Амальрик в заключение всего вышеизложенного, отметив, опять верно, что « логическим результатом » упадка режима может быть только « его смерть », добавляет :

« Смерть, за которой последует анархия ».

Что и требуется доказать партийным олигархам, — мол, при них можно еще хоть некоторое время кое как мирно прожить. И ясно вполне, что для их устранения требуется прямо противоположное : всё внимание, все силы надо направить на то, чтобы заранее отогнать призрак возможного хаоса, подготовить творческие, положительные решения наболевших вопросов, укрепить для этого созидательное самосознание освобожденных сил, которых Амальрик, кстати, тоже старается убедит, наоборот, в их собственной беспомощности.

Новые творческие силы в России могут и должны получать от русского зарубежья осмысленную поддержку, в этом теперь смысл нашего существования и этим, конечно, объясняется внимание, уделяемое русской эмиграции партийными инстанциями Советского Союза. Не будь этого неослабного интереса, эмиграция не подвергалась бы наводнению специально для нее составляемой « литературой », как вот уже сколько лет выходящий « Голос Родины ». Поэтому скажем всетаки не сколько слов с пасквиле, недавно напечатанном в этом издании о нашем журнале.

На фоне совершенно несомненного одряхления партийного режима в СССР, сильно комическое впечатление производит главное старание составителя этого пасквиля — представить всех наших сотрудников жалкими, выжившими из ума стариками. Судя по некоторым признакам, автор, подписавшийся « Сергей Ананьин », заглядывал к нам в редакцию на Елисейские поля, некоторых из нас он знает, других нет, и поэтому есть среди них лица, которых он по ошибке возвел тоже в преклонный возраст, когда они его еще отнюдь не достигли. Ясно, что сам автор проживает за пределами социалистического отечества, и интересно было бы знать, сколько лет ему самому. По общему « стилю » и содержанию пасквиля, нельзя подумать, чтоб он принадлежал к зарубежному « молодняку ».

Заметил он, среди прочего, то, что в помещении на Елисейских полях были у нас кресла « потертые », и что на мне, нижеподписавшемся, пальто « старенькое ». Об этом и написал — и хорошо сделал, по своему необыкновенному хамству и глупости : всякому после этого становится ясно, что в « Возрождении », — не то, что в « Голосе Родины », — капиталов не наживешь, все мы работаем не для денег, а для чего-то другого, чего г. « Ананьин », по-видимому, даже и представить себе не в состоянии. Дальше пошлого издевательства над « потертыми креслами » и над старостью, действительной или мнимой, ему итти не дано.

Можно лишь пожалеть о том, что « Голос Родины » распространяется только в эмиграции, а в России его достать нельзя : именно там люди молодые и свежие оценили бы по достоинству стряпню г. « Ананьина ». Вопрос, ведь, не в том, что в « Возрождении » пишут и люди уже весьма пожилые, а в том, есть ли у них, и у нашего журнала в целом, что называется, общий язык с молодыми силами на Родине. И на этот вопрос имеется ответ совершенно определенный : знаем достоверно, что да, общий язык с ними есть у нас, а у подхалимов режима, твякующих из подворотни, его нет и не может быть.

Кн. С. Оболенский

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ

« Ч а с о в о й »

Орган связи Российского Национального Движения

Под редакцией В. В. ОРЕХОВА

Подписная плата во Франции: 20 фр. (год), отд. ном. 2 фр.

Представитель для Франции :

Librairie « Kama » — 27, rue de Villiers, 92 — Neuilly.

С.С.Р. 18. 446.32

Продается во Франции в книжных магазинах :

E. de Sialsky, 2, rue Pierre-le-Grand, Paris 8°; « Kama », 27,

rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine; Magasin du Livre, 10, rue

des Carmes, Paris 5°; « Дом Книги », 9 rue de l'Éperon, Paris 6°

« РУССКАЯ МЫСЛЬ »

« LA PENSÉE RUSSE »

Главный Редактор : Зинаида ШАХОВСКАЯ

« Русская Мысль » — самая большая русская еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг на 12-ти страницах большого формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

« Русскую Мысль »

Адрес РЕДАКЦИИ И КОНТОРЫ :

LA « PENSÉE RUSSE », 91, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10°

Tél. : 824-83-16

С.С.Р. 5883-44 Paris

Прием по делам редакции и конторы ежедневно от 10 до 18 ч., кроме суббот и воскресений.

В экстренных случаях звонить в типографию: 636-01-29

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА : на 3 мес. — 22,50 фр.

на 6 мес. — 42,00 фр.

на год — 84,00 фр.

ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫ : на 3 мес. — 25,00 фр.

на 6 мес. — 48,00 фр.

на год — 96,00 фр.

Цена отдельного № 2,00 фр.

Наши представители за-границей:

АВСТРИЯ : Frau Kira Wolff, Bartensteingasse 8, Wien I.

АРГЕНТИНА : Mr. Jorge Knircha, Villa Balester, Jose Hernandez 149 dep. 2, Prov. Buenos-Aires.

БЕЛЬГИЯ : « La Sentinelle ». Belgique. Boite postale 31. Ixelles-4 (Compte postal 3925.03).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : Iskander Ltd., 56, Ennismore Gardens, London S.W.7

ГОЛЛАНДИЯ : N. V. Martinus Nijhoff-Librairie. B. P. 269, 9, Lange Voorhout. La Haye. Pays-Bas.

ЗАП. ГЕРМАНИЯ : Dipl.-Ing. N. Alimov. München 22. Liebigstrasse 16/II.

США : « Slavonic Bazaar », 31 Middle Street, Bridgeport, Conn. — 06603, Mrs. M. S. Kingston. Russian Book Store « Russ », 443, Balboa Street. San-Francisco, 18. Calif. 94118, U.S.A.

ВЕНЕЦУЭЛА : Mme G. Balitzky Sur 5, № 88. Caracas.

БРАЗИЛИЯ : Mr. L. Rubanov. Livraria « KNIGA ». Rua Quintino Bocaiuva, 22 - 2.º - S/8 — Caixa Postal 8405. Sao-Paulo.

АВСТРАЛИЯ : « Unification », 497 Collins St., Melbourne, C. I., Australie.

« П О С Е В »

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Содержит информационный материал об актуальных событиях в СССР и остальном мире, аналитические статьи по социально-политическим проблемам современности (особенно общественного развития России).

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

В Германии и во всех других странах, кроме США, Канады

При подписке непосредственно от издательства на 1 год — 40 нем. мар. (включая стоимость пересылки).

При получении авиапочтой добавляется стоимость авиапересылки.

В США и Канаде (включая стоимость пересылки)

При подписке непосредственно от издательства на 1 год :

а) Авиапочтой — 24 ам. долл.

б) Простой почтой — 18 ам. долл.

В Австралии подписка принимается нашим представительством « Единение », Мельбурн

Подписную плату следует посылать почтовым переводом или чеком по адресу :

POSSEV-VERLAG

D 623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или банковским переводом на :

Konto 215 340, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

Из Германии удобнее всего пересылать на :

Konto 33461, Postscheckamt, Frankfurt/Main.

ПОДПИСКА НА
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ВОЗРОЖДЕНИЕ

принимается временно по адресу :

M. Serge Obolensky,
Chemin de la Côte-du-Moulin, L'Etang-la-Ville, 78 — France
С.С.Р. 21148 15 — Paris.

Банковские чеки и почтовые переводы должны быть выписаны
обязательно на имя M. Serge Obolensky с пометкой
« для **Возрождения** ».

Спрашивайте « Возрождение » во всех русских книжных
магазинах

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Во Франции :

на 12 номеров 80 фр.
на 6 номеров 45 фр.

Заграницей :

на 12 номеров 21 долл., или 8 фунтов ст. 8 шилл., или 80 НМ.
на 6 номеров 12 долл., или 4 фунта ст. 16 шилл., или 45 НМ.

Цена отдельного номера :

Во Франции : 8 франков.

Заграницей : 2,50 долл., или 1 фунт ст., или 9 НМ.

**Не забудьте возобновлять Вашу подписку своевременно : от
регулярного поступления средств зависит успех нашего
издания.**